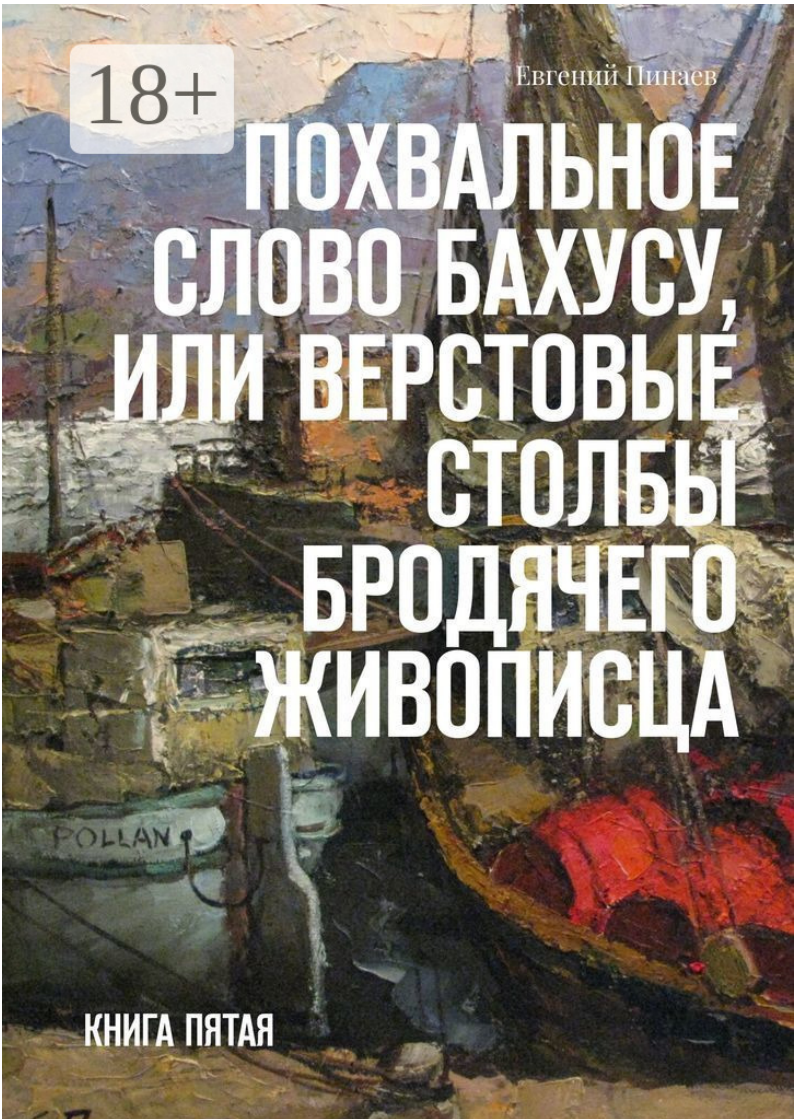
18+

Евгений Пинаев

ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО БАХУСУ, ИЛИ ВЕРСТОВЫЕ СТОЛБЫ БРОДЯЧЕГО ЖИВОПИСЦА



КНИГА ПЯТАЯ

Евгений Иванович Пинаев

Похвальное слово Бахусу, или Верстовые столбы бродячего живописца. Книга пятая

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=70015105
ISBN 9785006088672

Аннотация

Роман воспоминаний Евгения Ивановича Пинаева сочетает в себе элементы дневниковой прозы и беллетристики. Автор оглядывается на свою жизнь от первых «верстовых столбов» времен учебы в художественном училище до тех, которые он воздвиг в портах разных морей и на Урале 1990-х. Вниманию читателя предлагается авторская версия романа.На обложке – фрагмент картины автора: «Риека. Красные бочки» (2007) Книга содержит нецензурную брань.

Содержание

Автопортрет с помазками и стилом на фоне Таватуя… 5
Библиография 14
Часть первая. 17
Часть вторая. 88
Конец ознакомительного фрагмента. 121

Похвальное слово Бахусу, или Верстовые столбы бродячего живописца Книга пятая

Евгений Иванович Пинаев

Редактор Борис Евгеньевич Пинаев
Корректор Борис Евгеньевич Пинаев

© Евгений Иванович Пинаев, 2025

ISBN 978-5-0060-8867-2 (т. 5)
ISBN 978-5-0051-8175-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Автопортрет с помазками и стилом на фоне Таватуя…

Официальную бумагу подписывают лица официальные. Передо мной лежит именно такая, аж с четырьмя размашистыми подписями. В верхнем правом углу – мееееленько! – обозначено: «Пинаев». Чтобы, значит, не ошибиться в адресате. Пинаев – это я. Мне бумага. Нуте-с, о чём в ней? «Уважаемый Евгений Иванович! – Набрано жирным шрифтом. – Мы рады сообщить Вам, что издательство…» Ишь ты, рады! Представил сразу радостные физиономии коллег, которые рады сообщить, что желали бы получить от меня словесный автопортрет, проиллюстрированный фотографией «форматом не менее 6 х 9».

Я решил откликнуться на призыв, узнав из дальнейших строк, что «юмор – тоже часть философского отношения к жизни». Что верно, то верно. Такой подход ко всякой серьёзности мне по душе.

Как быть? Вообще-то лучший способ откликнуться на «рады сообщить Вам» – это жанр автоэпитафии. Не слишком радостный, но достаточно всеобъемлющий. Правда, лишь в том случае, если он не уступает известному сочинению Брюсова:

Пастырь. Оратор. Воин.
Пас. Возделывал. Низил.
Коз. Огород. Врагов.
Веткой. Мотыгой. Мечом.

Жаль, невозможно переплюнуть классика. А ведь легко представить холмик и пирамидку с фотографией Е. И. Пинаева форматом 6х9, ниже дату рождения: 13 сентября 1933 года, затем тире – и… Вторая цифирь временно отсутствует, но всё равно появится (лучше позже, чем раньше), когда придётся держать ответ перед тем, в кого я, увы, не верую.

Да, автоэпитафии было бы достаточно, если бы не желание оправдать своё сосуществование с жизнью хотя бы в собственных глазах. Мол, жил, копошился, что-то делал. Ведь похвастать-то нечем. Единственное достижение в малолетстве – похвальная грамота, полученная по окончании первого класса. Дальше-то – через пень-колоду! В шестом отсидел два года, с грехом пополам закончил семилетку и созрел для Свердловского художественного ремесленного училища №42. Но прежде чем перебраться из города Щучинска, что в Северном Казахстане, в столицу Сталинского Урала, я, изрядно попотев, сотворил «роман», название которого в памяти не удержалось. «Тайна трёх океанов» – соответствовало бы духу сочинения, ибо творилось оно под впечатлением «Тайны двух океанов» Адамова, хотя и не было абсолютным плагиатом. Так, если у писателя ПЛ «Пионер» пробилась сквозь подводные ледяные заторы, то мой «Комсо-

молец» умудрился прошмыгнуть под Африкой: нырнув под материк в Средиземном море, вынырнул аж в Антарктике. Однако морская тематика говорит о том, что уже в ту пору «душа рвалась на части», а полное её раздвоение началось в Свердловском военно-морском клубе. Я посещал его несколько лет кряду, грёб на шестивёсельном яле, ходил под парусом и получил удостоверение старшины шлюпки.

ХРУ №42 я так и не закончил. Перебрался в художественное училище им. Шадра, под знамёна Павла Хожателева, но знамёна те ничем не прославил. Пресловутая муза дальних странствий не давала покоя. Мои старшие друзья, художники Охлупин и Терёхин, таскали меня за собой. Мы побывали на Каме, на Алтае, мы… Стоп! На пятом курсе случилась осечка. Причина? Наверное, чесались пятки, и я, бросив училище в середине года, пустился в бега по маршруту Свердловск-Мурманск-Одесса-Кишинёв. В Молдавии остановился, перевёл дух и закончил «Шкоала републиканэ де пиктурэ». Сей подвиг позволил добраться до Москвы и «проникнуть» на живописный факультет Художественного института имени Сурикова, поцеловать полотнище знамени в соцреалистических руках Фёдора Модорова и, снова не прославив себя никакими подвигами, дезертировать со второго курса. «„Мир, открытый тебе во все концы“ открыт и мне, – послал я знаменосцу мысленную радиограмму, удаляясь от „альма матер“ со скоростью курьерского поезда. – Может быть, встретимся: в каждой разлуке сокрыта

новая встреча».

Не помню, чьи это слова, но с Модоровым я больше не встретился. «Заболев морем» не в парных тропиках – в Арктике, я решил твёрдо: если «путь искусства долог, а жизнь коротка», то прожить её надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые – в четырёх институтских стенах – годы. Пошатаюсь по белу свету, думал я, приближаясь к Кёнигсбергу-Калининграду, и ежели не создам свой «Девятый вал», то, может, напишу «Морские рассказы» или что-то вроде «Фрегата „Паллады“». Тем более, в трудовой книжке – чёрным по белому: «Профессия – матрос».

Матрос, плотник, подшкипер, боцман: «этапы большого пути», который начался и кончился именно в Калининграде – лучшем городе на Земле, потому что в нём прошли мои лучшие годы. От его причалов уходил я в Атлантику, к ним возвращался, здесь я впервые поднялся на палубу трёхмачтовой баркентины «Меридиан», здесь женился на той, которую встретил ещё на Урале и которая родила мне двух сыновей, здесь познакомился с писателем и моряком Юрием Ивановым, с учёным-биологом и тоже моряком Рудольфом Буруковским, здесь, наконец, обрёл (и уже потерял) многих друзей. Оставшиеся до сих пор соединяют меня с Балтикой незримой нитью, поэтому город и люди – тот аккумулятор, который всё время подпитывает все мои морские начинания, всё моё сочинительство. А начало ему положила

встреча со Славой Крапивиным на палубе четырёхмачтового барка «Крузенштерн», случившаяся в Севастополе летом 1967 года. Я был матросом, он – гостем барка, на котором тогда снимался фильм по мотивам произведений Александра Грина «Рыцарь мечты». Крапивину было не миновать «Крузенштерна» и, к счастью, – уж так получилось – и меня. Если море окрасило мою жизнь каким-то смыслом, воплотившимся в картинах, этюдах и рисунках, то Владислав Петрович способствовал реализации другой моей ипостаси: появлению нескольких повестей и рассказов о море. Да, и это всё о нём. Словом, с кем поведёшься, от того и наберёшься, ибо маститый автор тыкал неофита носом в нелепости, стилистические погрешности, учил уму-разуму и ремеслу.

Собственно, на этой «оптимистической ноте» можно бы закончить «автопортрет». Далее кардиограмма жизни «уважаемого Евгения Ивановича» даёт простенькую линию с редкими всплесками пиков, равных по высоте Плешивой горке. Всё так, однако коллеги, те, что были «рады Вам сообщить», просили раскрасить автопортрет философскими, буде такие имеются, колерами, а также «изложить здесь любые мысли, которые представляются Вам важными и необходимыми для понимания читателями Вашего творчества и Ваших взглядов на литературный процесс и жизнь общества».

Вопрос о читателях оставим за скобками. Моя вторая и последняя книжка «Голубой омар» вышла одиннадцать лет назад. Если у неё и были читатели, они, скорее все-

го, уже вымерли. Срок-то вполне достаточный. О жизни общества вряд ли стоит говорить. Она на виду, и общество, надеюсь, выживет, потому что оно – российское общество, вскормленное, в массе своей, не на вкусной и здоровой пище, а на отбросах с помойки. Дай обществу чуть-чуть живой водицы, и оно оживёт, как сорняк, у которого силы немерено. Если же говорить о философском окрасе и взгляде на литпроцесс, то он прост, если не примитивен.

Мой взгляд, моя концепция не отличается от общепринятой. Люди пишущие делятся на «писателей» и «сочинителей». Я – разновидность последних, сочинитель-эгоист, ибо пишу для собственных потребностей, которые делают упомянутую мной линию кардиограммы всё-таки не прямой, а слегка волнистой, а это признак того, что покойник не совсем умер, а слегка жив. В настоящем я существую и, как шакал – падалью, питаюсь прошлым; в нём и живу. Эту мысль в стихотворной форме некогда изобразил моторист траулера «Креветка», а по совместительству поэт, Коля Клопов:

Года идут – маразм крепчает,
за летним зноем – вновь мороз:
былое думу согревает,
как детский тёпленький понос.

Франц Кафка мог позволить себе такое кредо: «Нет нужды выходить из дому. Оставайся за своим столом и прислушивайся. Даже не прислушивайся, жди. Даже не жди, будь

неподвижен и одинок. И мир разоблачит себя перед тобой, он не сможет поступить иначе». Кафка так и поступал, потому что был Писателем. Домоседом, способным заглядывать за горизонт повседневности и видеть иные миры, быть может, живущие по законам парадокса. Писатель – великое слово, писательство – удел философов и мудрецов. Сочинитель – всегда непоседа. Он постоянно рыщет в поисках сахарной косточки. Он всеяден и только на склоне лет живёт, коли повезло, за счёт накопленного прежде жирка. Иногда на его долю выпадает удача. Тогда появляются «Приключения капитана Врунгеля» или «Старик Хоттабыч». Пример, как говорится, лишён чистоты, но каков есть. Сочинитель-эгоист, в отличие от сочинителя, живёт за счёт самоедства, постоянно употребляя в нужное время и в нужных целях ту или другую кость своего скелета. У сочинителя, между прочим, тоже имеется кредо, сформулированное Борхесом: «Писатель – или любой другой человек – должен воспринимать случившееся с ним как орудие; всё, что ни выпадает ему, может послужить его цели, и в случае с художником это ещё ощутимее: унижения, обиды, неудачи – всё даётся ему как глина, как материал для искусства, который должен быть использован». Хорхе Луис, правда, называет сочинителя писателем, но кто знает, может, ему виднее.

Древние считали: «плавать в море необходимо, жить не обязательно». Поверив хорошо сказанному, я живу на Урале, на берегу озера, которое называю своей Мини-Бал-

тикой. Здешние сосны шумят точно так же, как их собратья с настоящей Балтики. А ежели утренний туманец, скрыв дальние сопочки, преподносит взору чуть ли не морской горизонт, то иной раз можно уверовать, что волен ты уплыть отсюда в «терра инкогнита», к черту на кулички. И тогда бдение над чистым листом бумаги даёт возможность «легко затеряться в солёном просторе», говорить с живыми и умершими, жить их жизнью. Я матрос с разбитого корабля, чудом оставшегося на плаву, матрос, привыкшей к травле на баке, а «травля» – всегда на потребу себе и обществу. Но как эгоист, я всегда переживаю и злюсь, если редакторы пытаются привести мой текст к своему знаменателю, к согласию со своим пониманием того, что должно быть «как надо» и чего не должно быть, что будет скучно для читателя, а что – интересно. Геннадий Прашкевич, когда затеял в Новосибирске журнал «Проза Сибири» (жаль, что тот быстро почил в бозе), шёл от обратного. И если что-то брал у автора, ни на йоту не отступал от текста, отдавая его на суд читателя, который всегда прав, отвергая или принимая предложенную стряпню.

Итак, подводим итог.

Автопортрет готов. Пора поместить его над будущим холмиком. А может, всё-таки изладить также и автоэпитафию? Конечно, я не Брюсов и даже не Коля Клопов, умевший под стук дизеля создавать перлы подобного рода. Он тоже был сочинителем-эгоистом, морской косточкой, которая редко

подводила, когда Клопов брался за стило. Что ж, последую его примеру и…

И вместо положенных по регламенту шести страниц, о которых в той же бумаге известили собратья по творческому цеху, слегка задействую седьмую. Думаю, это простится мнимому покойнику. Тем паче, библиография, которую уже я «рад сообщить» им, много короче автоэпитафии, что, придёт срок, займёт-таки место на пирамидке отошедшего в лучший мир эгоиста.

На берегу пустынных волн покоится ################
Прогнивший Чёлн.
В земной юдоли был мазилой, мечтавшим ##########
######обойти полмира,
в чём, между прочим, преуспел, да вдруг на берегу осел.
Покойся же, Пинаев Женька! Когда б тебе ума маненько,
когда бы твой пустой кочан не знал дороги в океан,
ты б, может, жизнь прожил другую, ##########
доныне всё ещё земную.
Ты ж пил, курил, ты песни пел и в одночасье околел.

#

п. Калиново
01.08.2000 г.

Библиография

1. «Над нами паруса», документально-художеств повесть, журнал «Уральский следопыт», №11, 1979.

2. «Гошка и Яшка», рассказ, журнал «Уральский следопыт», №4, 1981.

3. «Что иметь за душой», очерк, «Уральский следопыт» №3,1982.

4. «Серебряная гитара», рассказ, «Уральский следопыт», №6, 1983.

5. «Песочные часы», повесть (журн. вариант), журнал «Пионер», №№8,9. 1984.

6. «Мир дому твоему», повести, Средне-Уральское книжное издательство. Тираж 15 000 экз., усл. печ. листов 12,0.

7. Коллективный Сборник «Ты помнишь?..», повесть «Катькин столб», Ср.-Уральское книжное издательство, 1985.

8. «Арлекин», повесть. Журн. «Урал», №11, 1986.

9. Сборник «Поиск – 88», повесть «Арлекин», Южно-Уральское книжное издательство, 1988.

10. «Голубой омар», повести, Средне-Уральское книжное издательство, 1989. Тираж 75 000. Усл. печ. листов 21,0.

11. «Шантарское море», повесть, журн. «Урал», №№5, 6, 1998.

12. «Похвальное слово Бахусу или Верстовые столбы бро-

дячего живописца», роман воспоминаний.

1-я книга – журн. «Урал», №№10, 11, 12. 2000.

2-я книга – там же, №№2, 3, 4, 5. 2002.

3-я книга – там же, №№7, 8, 9, 10. 2004.

4-я книга – там же, №№5, 6, 7. 2006.

5-я книга— там же, №№2, 3, 4. 2009.

13. «Пишите письма», повесть, «Уральский следопыт», №№10, 11, 12, 2007.

14. «Злоключения „Бродячей Кошки“», Екатеринбург: изд-во «Лифт», 320 страниц с илл., 2013 г.

15. «Звёздный волк», 2015.

Критика. Несколько слов в обзоре журналов Татьяны Ивановой «Что читать», в журнале «Огонёк», 1987. «Когда молодые люди просят что-нибудь поинтереснее, можно смело рекомендовать им повесть Евгения Пинаева „Арлекин“ из журнала „Урал“ – героико-романтико-ироническая проза. От приключений дух захватывает».

Крохотные заметки по выходу книг в газетах «На смену» и «Вечерний Свердловск».

Памяти друзей моих и наставников
Аркадия Охлупина и Владимира Терёхина

Растроганный Улисс прошептал:

– Завтра мы увидим корабли.

Гарсиа Маркес

Часть первая.
Пора в путь дорогу…

О, как много на земле дел, мой юный товарищ, дел которыми можно было бы занять себя вместо дурацкой-дурацкой писанины в часы нашей словесности! С сожалением о невозможном и утраченном. С грустью. С лицом человека, которого никогда не было, нет и не будет.
Саша Соколов

Три стакана портвейна, что выпил некий инспектор Глебски, вынудили его поутру лезть в сугроб, чтобы нейтрализовать их остаточное воздействие. Магическая цифра: три! И не только у братишек Стругацких. Слишком часто она фигурирует в нашем обиходе. Она, собственно, всю жизнь сопровождает человека. В детском саду сопливый шкет слушает сказку о трёх поросятах, в школьные годы получает трояк, потому что до трёх ночи читал роман «Три мушкетёра» и не смог на уроке назвать имя одного из триумвиров. Дальше – больше. Созрев для дворовых компаний, начинает сапиенс соображать на троих и расстраивается однажды, узнав, что он – третий лишний. И что ему предлагает старость? «Трёх богатырей» на стенке да зевоту, после которой остаётся, как нынче заведено, перекреститься тремя перстами и,

зевнув ещё раз, помянуть всуе Отца, Сына и Святаго духа. Аминь!

Бахус был удивлён, что инспектор Глебски скис после трёх стаканов портвейна. Я объяснил старикашке, что иного и не ожидал от заграничного мента. Напомнил «Ярмарку» Теккерея, а в ней – джентльмена, которого давила чума даже после одного стаканчика того же напитка. Конечно, портвейн портвейну рознь. Взять, к примеру, креплёную советскую краснуху, которой мы потчевали в Такоради мариманов с аглицкого банановоза. Ихние моряки покрепче, чем сэры, пэры и сквайры, но Тони, Дуги и даже Роберт-работяга тоже валились с копыт, пригубив «партейного» пойла. Ибо, говорил я античному сверхстарпёру, что позволено выдержать российскому организму, то не дозволено изнеженным нациям прогнившего сытого запада, которые разбавляют пойло если не водой, то льдом или тоником. Почему? Они реалисты, пекущиеся о своём «о» (подразумевайте под «о» всё что угодно: здоровье, кошелёк, etc.), а пьющий по-нашенски – это зрелый импрессионист, влекущийся к свободному, без догм, восприятию окружающего мира, сравнимого лишь с ночным звёздным небом, полным загадочного мерцания духа и душ, достигших высот, что невозможны на земле, стиснутой обручами правил и законов, чаще всего самых дурацких, которыми умело пользуются реалисты, перестраивая реальность себе в угоду самым меркантильным, наглым и пошлым способом.

Спрóсите, к чему такое присловье? Да всё к тому, что иной раз три бутылки коньяка объёмом в ноль восемь — заметьте, на троих, – если и порождают желание забраться в сугроб для «нейтрализации остаточного воздействия», зато помогают окунуться в далёкое прошлое. А если быть совсем точным (в связи с обстоятельствами), то в прошлое иной раз можно попасть только таким способом, вызвав его, как джинна из бутылки, и тем самым нейтрализовать остаточное последствие настоящего, ибо оно, косноязычное настоящее, требует жертв, после которых только и допустит к искусству того, кто готов принести новые жертвы, не ведая того, или же зная о том, что они, как и потуги, напрасны.

Когда в кругу убийственных забот
Нам всё мерзит – и жизнь, как камней груда,
Лежит на нас, – вдруг, знает Бог откуда,
Нам на душу отрадное дохнёт —
Минувшим нас обвеет и обнимет
И страшный груз минутно приподнимет

Вот так. Дословно. Разве что «страшный груз» пришлось заменить на «сладкий». Скажу сразу, своих мыслей у меня уже нет. Тем более – оригинальных. Запасец, который имелся когда-то, я уже израсходовал, а стоит ли обзаводиться новым? И лень, и поздно. Да и где его нынче взять? Реализм подсказывает импрессионисту, что коли есть возможность использовать чужой, то, вверясь Горацию, достижимо-

го домогайся любым способом, ибо всё умное уже сказано и запечатлено на бумаге. Я и чужие мысли редко произношу вслух. Пользуюсь лишь для внутреннего употребления и в состоянии подпития. В трезвом виде они мне ни к чему. Для умствования планета наша мало приспособлена, а глупости, что слышишь каждый божий день, способствуют замкнутости даже в кругу близких. Я давно почувствовал это и понял, что быть раком-отшельником очень удобно. Меньше спросу. Это во-первых. А во-вторых, за меня сказал один умный японец: «Всё-таки человек не развивается с возрастом, хоть тресни. Характер формируется годам к двадцати пяти, и потом уже, как ни бейся, себя не переделаешь. Остаётся только наблюдать, насколько окружающий мир соответствует твоему характеру». Такой вот фокус-покус. И те стихотворные строчки лишь отражают настроение, с которым я, нагруженный коньяком выше ватерлинии, покидал цитадель Прохора Прохорыча Дрискина.

Но я, кажется, сошёл с фарватера, поэтому – ближе к делу.

Началось стандартно. Накануне, уже в сумерках, в дверь мою торкнулся мажордом Дрискина, он же посол для особых поручений, Сёма. Так, мол, и так, Михалваныч, кличет тебя хозяин. Гость у него, но одного ему вроде как мало.

– Оба, поди, уже на взводе? – высказал я трезвую мысль в виде вопроса.

– А тебе-то что? – ухмыльнулся ландскнехт. – Так и так – догонять.

– Ждать и догонять – хуже некуда.

– Ждать тебе не придётся, – успокоил Сёма. – А догонять… не за поездом бежать с грыжей наперевес.

– …а с инфарктом за пазухой, – дополнил я, ковыляя за гонцом.

– Вообще-то, Михалваныч, ты им нужен как амортизатор, – пояснил Сёма. Этот Звиздунов Прохора достал, а хозяин нонче не в форме, чтобы одному сдерживать натиск.

– Час от часу не легче, – вздохнул я и, бросив на крючок треух и шубейку, шагнул в каминную.

В ней ничего не менялось уже несколько лет. Прохор Прохорыч любил постоянство. Тот же стол в центре. Круглый. С напитками и обильной закуской. Те же кресла вокруг него. Приёмистые, как могила. Над камином моя живописная пачкотня, некогда положившая начало нашему сотрудничеству в финансовой сфере, обочь его – бар, отрада сердца, который не раз согревал меня в минуты душевной стужи своим содержимым. Наконец диван – любимое лежбище Прохора Прохорыча, на котором он всегда почивал, пренебрегая спальней. На том диване он мог вольно раскинуться, прикрыв неглиже махровым шлафроком.

Всё это я окинул взглядом и, как живописец, одобрил:

– Картина маслом!

– Если смотришь сериалы, Миша, то, хе-хе, вбей себе в мозг, что здесь тебе не Адеса-мама, а Каменный Пояс…

– …и два валуна, две, так сказать, финансовые глыбы

местного разлива. Что не поделили, если вам, по словам Сёмы, понадобился амортизатор?

– Он так сказал? Башка! Да, посредник нам нужен, – подтвердил г-н Дрискин.

– Рефери! – зачем-то поправил его г-н Звиздунов.

– Арбитр, словом, – кивнул я, вдохновлённый видом бутылок.

– Третейский судья, – счёл нужным поставить точку хозяин. – А для начала, судья-амортизатор, хорошенько встряхнись.

– А, собственно, о чём спор? – спросил я, основательно встряхнувшись.

Вопрос остался без ответа. Я встряхнулся вторично. На сей раз – следуя примеру своих визави. Прохор Прохорыч пожевал какой-то травки, шумно рыгнул и ткнул в потолок пальцем:

– Как говорили в тех сферах, Борис, ты не прав. В данном случае не прав ты, Архип. Ты поступаешь против истины, когда говоришь, что твой терем…

– …а ля рюс, – подсказал я.

– …лучше моей, – Прохор Прохорыч покосился на меня, – лучше моей цитадели. Мой дом – моя крепость. Не так ли, Михаил?

– Йес, сэр! – охотно подтвердил я, наполняя фужер производным земли и солнца. – Воистину так, ибо терем его – эклектика, а твоя цитадель, Прохор Прохорович, несёт в своей

основе… я говорю о внешнем облике твоего жилища, бесхитростную простоту казармы.

– Устами соседа глаголет истина! – хохотнул Прохор Прохорыч. Сходство с казармой его не обидело, а вроде бы даже обрадовало. – А против истины не попрёшь. Не так ли, Архип Савельич?

– Истина… – сморщился Архип-ибн-Звиздунов и брезгливо оттопырил губу: – И не казарма вовсе а… Сортир на Пятницкой! – выпалил он.

– Мог бы из уважения к истине не опошлять мой богоугодный бизнес, – смиренно заявил господин Дрискин, как бы напомнив нам, что минуло уже года три-четыре, как он прислонился к попам и даже намеревается построить часовню на том бугре, что замыкает посёлок с норд-веста.

– А ты не богохульствуй, Проша! – парировал Архип Савельич. – Ты в своих сральнях цену за визит взвинтил? Взвинтил! А это не по-божески. За вход дерёшь уже даже не червонец, а… Сколько, ась? Вот и разберись, где душа, где чрево, а где твой кошелёк.

– Про инфляцию забыл? Я предприниматель, а не филантроп! – рявкнул Прохор.

– Брек, господа предприниматели! Разошлись по углам и вытерли сопли! – скомандовал я фамильярно, но строго, как рефери на ринге. – Вы удалились от темы.

– А что он… – обидчиво пробормотал Прохор Прохорыч, но ничего не добавил к реплике и налил себе коньяку.

– А что я?! – возмутился Архип Савельич и тоже набузгал половину фужера. Я, само собой, принял эстафету, чтобы подстегнуть красноречие, которого был начисто лишён в трезвом виде, но уже ощущал прилив вдохновения после первых возлияний.

– Повторяю, Архип, ты не прав хотя бы потому, что погубил целую сосновую рощу, а получил вместо… Как, Миша, назвала твоя супруга его сооружение, заглянув в потроха?

– Эклектикой назвала. Дурным вкусом.

– А что хорошего в твоём железобетонном склепе?! – возопил Звиздунов.

– Зато – по средствам. Не размахивался, как ты. Мой дом – моя цитадель! Без излишеств. Да, снаружи казарма, а внутри? В ней всё на месте и без потуг на роскошь. Я, Архип, пыль в глаза не пускаю. Я буржуа. Обычный, среднестатистический, а потому люблю уют, которого нет в твоих хоромах. Мне в них холодно. Это лабиринт, в котором могут жить только крысы.

– Крепко сказано, – насупился Архип Савельич и повернулся ко мне вместе с креслом, вздыбив ковёр волной. – А что скажет арбитр?

Я понимал резоны обеих сторон. Как арбитру, хотелось поддержать Дрискина, как стороннему человеку – врезать по позициям того и другого, и коньяк (а мы уже заканчивали третью бутылку) способствовал агрессивности. Их амбиции и возможности не вызывали зависти, но мне претила ме-

лочность и бессмысленность спора. Ну построили они себе хоромы, и что из того? Жили бы в своё удовольствие, так нет же! Обязательно надо доказать превосходство собственного «проекта». Хорошо ещё, что Прохор с годами угомонился, больше не предлагал продать ему мою халупу и переселиться к лесу, где якобы приглядел для меня другую. Расстался он и с особняком, что отгрохал ближе к озеру с намерением, выжив меня с насиженного места, застолбить весь участок на спуске к берегу.

Не врезал я господам бизнесменам. Сначала посочувствовал обоим хоромовладельцам, потом слегка пожурил за никчёмную междоусобицу, возникшую, без сомнения, благодаря коньячным парам, затем плавно переложил руль на «истинный курс» и рассказал о своей первой любви, баркентине «Меридиан», и о барке «Крузенштерн», не ставшем второй любовью из-за своей величины. Да, его размеры поражали воображение, вызывала почтение высота мачт, восхищало и обилие парусов, но я чувствовал себя «буржуа» только на небольшом «Меридиане», где всё, вплоть до волн морских или океанских, было, так сказать, под рукой, где каждый знал каждого, где даже ссоры носили семейный характер, а потому баркентина была домом родным, семьёй со всеми её коллизиями, в то время как барк – общежитием. Я не умалял его достоинств. Да и к чему? Двести курсантов – не сорок пять наших – это толпа. Конечно, у баркентины и труба пониже и дым пожиже, в том смысле, что тридца-

тидвухметровая высота её мачт равнялась половине высоты стальных махин барка, так что из того? В этой разнице заключались лишь другие условия существования без малого трёхсот человек на стальном голиафе и шестидесяти на деревянной скорлупке, но…

– Но речь сейчас не о том, – закончил я примирительный спич. – Речь о том, что каждый кулик хвалит своё болото, и каждый кулик по-своему прав. Так что, господа, давайте пожмём друг другу руки и в дальний… и выпьем за процветание «цитадели» и «терема». А если не возражаете, то и за мою хижину тяпнем. Она тоже имеет право на существование. Я как домовладелец не приветствую лозунг «мир хижинам, война дворцам».

В мире и согласии обезглавили мы четвёртую бутылку, но я вдруг сообразил, что на сегодня с меня хватит, что она, четвёртая, в сущности, верстовой столб, вокруг которого в этот вечер больше не стоит водить хоровод. Тем более, что был в нём третьим лишним. Собутыльники, забыв копеечный спор, окончательно помирились и уже горячо обсуждали какое-то совместное дельце. Глядя на эту идиллию, я понял, что далёк от них, как декабристы от народа. В тот же миг ощутил я эдакий сердечный спазм и ком в горле: впереди – пустота! А если сделать шажок назад, в прошлое, то… то можно вновь оказаться на палубе «Крузенштерна». Выспаться, взбодриться, а после – шагнуть. И пусть мне милее «Меридиан», но «Крузен» ближе во времени и пространстве.

К тому же, я отдал дань «Меридиану», посвятив ему немало страниц, а ведь на «Крузене» тоже были счастливые дни. Под его мачтами я снова встретил Юрия Иваныча Минина и Лео Островского. И Рич Сергеев, которому сдавал когда-то «Меридиан» со всеми потрохами и боцманскими заботами, тоже оказался на «Крузене» вместе с матросом Женькой Базецким, покинувшим «Капеллу» вместе с Ричем.

Я решился! Я мужественно встал на резвы ноженьки и, утвердившись в вертикали, провозгласил отчётливо и вдохновенно свой последний тост за тот случай, который «нам на душу отрадное дохнёт, минувшим нас обвеет и обнимет и сладкий груз минутно приподнимет». Его то ли не расслышали, то ли не обратили внимания.

Ладно, чихал я на вас вместе с дебитом-кредитом и всякими авизо на постном масле!

Пущай я сейчас «осетрина второй свежести», но завтра нырну в сугроб без портков, а вынырну до того свеженьким, что за письменный стол сяду, дыша первосортными жабрами.

И никого не спрашивай,
Себя лишь уважай,
Косить пошёл – покашивай,
Поехал – поезжай…
Александр Твардовский

Моря-океаны и «Козерог» остались в прошлом. Кёниг

и Светлый – тоже за кормой. Легко ли было покидать привычное? С кровью. С треском. Когда уволился Филя Бреус, кадры в меня вцепились: принимай пароход и боцмани на здоровье. Отверг сходу: но пасаран! Во-первых, такое однажды уже было на «Лермонтове». Принял у тёзки Мишки Курылёва боцманские вериги, а пришёл на пароход старый кеп, и – кранты: вернул Мишку, а я оказался на биче. Во-вторых, дал я жене кровную клятву стать сухопутным крабом, а в-третьих, наше барахлишко уже двигалось малой скоростью на Урал. За ним, с курьерской скоростью, вскоре последовали и мы. Было ощущение, что еду в отпуск, впервые – с женой и сыном. Словом, Одиссей возвращался в Итаку.

На Урале наступили хлопотные дни. С жильём и трудоустройством, к счастью, обошлось: то и другое нашлось довольно быстро. Жить определились на частной квартире. С пропиской помог Давид Маркович Ионин, некогда вызволивший раба «Трудовых резервов» из 42-й ремеслухи. Старый товарищ Алька Туманов, сам отведавший на востоке морской соли, посоветовал идти к ним, на телестудию, декоратором.

Однако быт и рабочая лямка – дело привычное для каждого «хомо советикуса» и вовсе не обязательно, чтобы он был шибко «сапиенсом». Так что нет смысла мусолить словеса, затёртые до трюизма, на эту тему. Зато, господа-товарищи, долгожданная встреча старых другарей, эт-то, скажу вам, совсем другой табак! О, воспоминания! И нет ничего странно-

го в том, что мы, Охлупин, Терёхин и я, привязав своих росинантов к верстовому столбу и поручив их заботам неунывающего старпёра Бахуса, заговорили не о днях, близких нынешним, а обратили взоры к тем временам, когда рванули на «москвичонке» Аркаши по Московскому тракту, держа курс на Каму и далее – на Орёл-городок, где в ту пору жили мои родители и братишка.

– Было же времечко, а?! Втроём, дружно! – пустил слезу холерик Терёхин.

– Дружно, говоришь? Мы ещё только загружали машину походными пожитками…

– Весь день провозились, помню, – вздохнул Аркаша.

– Вот-вот – весь день! И весь этот день, Владимир Алексеич, ты меня какими только «титулами» не награждал! И самыми безобидными были «дурак» да «идиот».

– Неужели было?! – изумился Терёхин.

– Себя не знаешь, Володька? – напомнил Аркаша. – Ты и меня достал, а угомонился только в полночь, когда выехали из города. Скис, а мы спокойно отмахали первые двести километров.

– А что вам – бугаи! А я худ. У меня – сердце, у меня…

– Не насморк, так понос, – добил Аркаша этого барбоса.

– Да-а… ну, извиняюсь задним числом, – повинился Терёхин и тут же напустился на меня: – А ты, Мишка, зачем помнишь всё это?! И неужели помнишь до сих пор?!

– Запомнилось. Потому что моё участие в экспедиции

могло закончиться уже в Молотове, то бишь в Перми, – решил я наконец высказаться, после стольких лет. – Помните, добирались до Лёвшино, где должны были погрузиться на пароход?

– А дорога – ухаб на ухабе, – вставил Аркадий: шофёр всегда помнит дорогу.

– О том и говорю, – кивнул я. – Это меня и спасло. Этот господин на тебя, Аркаша, набросился: «Не гони! Ты совсем обалдел! Баранку держать не можешь! Сломаешь рессоры! Да не гони, говорю! Не рискуй зря! Опять у тебя скорость шестьдесят километров!»

Я не выдержал и захохотал, когда эти двое уже хохотали.

– Ну-ну, а что дальше? – напомнил Аркаша, когда добавили ещё по стопарю и налили по новой. – Знаешь, это становится интересно. А я вот помню лишь то, как нас встречали в пермском Союзе художников – восторг! «Вот здорово! Вот как надо ездить на этюды!» – орали со всех сторон. Но ты продолжай, продолжай.

– Продолжаю. Приехали, а пароход нас взять уже не мог. Пока тряслись по ухабам, вместо «москвича» погрузили четыре тонны проволоки в лацпорт.

– Склоняю голову: если такую мелочь запомнил, то принимаю без разговоров всё, что скажешь в мой адрес, – повинился Терёхин.

Он мог так, когда хотел. И вообще был отходчив.

– Потом пришла «Башреспублика», оформили докумен-

ты, погрузились, – продолжал я своё повествование, – а до отхода ещё двенадцать часов. Я решил махнуть к тётке в Гайву. Тебя звал, Владимир Алексеич, а ты отказался. Как раз и катер шёл туда – отчалил я, а там, в Гремячем – это та же Гайва – узнал на причале, что обратный катер идёт в восемь, а пароход уходит в десять. Успею, думаю, и в половине восьмого явился на дебаркадер. Тут-то всё и началось. Дежурный сказал, что катер в Лёвшино пойдёт только в девять, да и то с заходом в Заозёрье. Мотай, мол, парень, в Заозёрье – там и сядешь на свой пароход, а если до Лёвшино, опоздаешь. Я аж зубами заскрипел. Ну, дела, – думаю, – съездил в гости! А рядом какие-то катера стоят. Поспрошал у мужиков – не бегут ли до Лёвшино? Никто! Я уже намылился обратно к тётке, а меня догоняет моторист с самого маленького: «Сколько дашь?» «Пол-литру», – говорю, а у самого в кармане рупь.

– Что-то начинаю припоминать, – сдвинул брови Володька.

– Я тоже, – покивал и Аркаша.

– Тогда закругляюсь. Бухнулся я вам в ноги: «Подайте, Христа ради, двадцать пять тугриков! После объясню, в чём дело!» Подали. Расплатился с извозчиком, вернулся к нашему автофургону, и вот тут ты, Володя, и принялся за меня: «Нам барыг не надо, мы барыг привыкли…» «Так я тебе отдам в Орле!» «В Орле вообще всё будем считать, а нам барыг не надо!» И так далее. Я плюнул и ушёл на корму. Сло-

вом, злость и обида! Так и просидел ночь – курил и дулся. Главное, не знал, как поступить. Если начну считать, сколько с меня причитается за всё про всё и отвалю в сторону, значит, вы ко мне не поедете, лето – в жопе, а я – первейший засранец: такое дело сорвал! Утром был у нас с тобой тяжелейший разговор…

– Ни черта не помню!

– Ты пытался мне объяснить, почему я барыга, я пытался тебя понять, но так ничего и не понял. Впрочем, мир мы заключили, и то хорошо.

– А сейчас, Мишенька, что думаешь по этому поводу? – спросил, подливая в стаканы, Володя.– Как оцениваешь себя и нас?

– Думаю, был я в ту пору порядочным лоботрясом, а вы… Вы, наверное, пытались выбить из меня молодую дурь.

«В механике существует понятие „коэффициент полезности“. Так вот, у человека этот „коэффициент полезности“ ничтожен. Мы ужасаемся, когда узнаём, что паровоз выпускает на воздух без всякой пользы чуть ли не восемьдесят процентов пара, который он вырабатывает, но нас не пугает, что мы сами „выпускаем на воздух“ девять десятых своей жизни без всякой пользы и радости для себя и окружающих». Это Паустовский заметил, и заметил вполне справедливо. Думаю теперь, что мне доставалось на орехи именно за пустопорожний «пар», выпущенный в воздух.

– Кончайте, мужики, рыться в старом тряпье, – сказал Ар-

каша. – Когда это было? Ведь следующим летом, и снова втроём, на Алтай покатили.

– И снова ругались, мирились, снова ругались и снова мирились, – засмеялся я, – а потом я оказался в Мурманске, далее – везде.

– И вот, блудный друг наш, ты снова вернулся на круги своя.

– Больше никуда не сбежишь? – спросил Аркадий.

– А это как карта ляжет, – ответил в полной уверенности, что карта ляжет теперь не скоро. Если вообще ляжет.

Воспоминанья слишком давят плечи,
Я о земном заплачу и в раю…
Марина Цветаева

Эти строчки Цветаевой я слизал у Паустовского, когда перечитывал «Книгу скитаний» с таким же эпиграфом. Не смог удержаться – уж больно в жилу! Так получилось, что уральский воздух был напитан прошлым, которое напоминало о себе на каждом шагу. А слизал вынужденно. Своими книгами уже воспользоваться не мог, так как они исчезли вместе с полками по причине… Не хочется говорить о причине в этот раз, но благовидный предлог воспользоваться чужой мыслью, даже полученной из вторых рук, появился, вот и…

Но ближе к делу. Как Хваля тянул лямку на «Диафильме», так и я отбывал часы на студии, выполняя с такими же труже-

никами кисти заявки телережиссёров. Особого энтузиазма не испытывал. В душе всё ещё звучал «ветер дальних странствий» и пели волны, в глазах бурлил и пенился кильватерный след, но в снах меня посещали почему-то не Филя Бреус или штурман Вечеслов, недавние соплаватели, а Коля Клопов или курсанты. Те, отношения с которыми и после «Меридиана» остались добрыми и приятельскими. Это, прежде всего, Толя Камкин, Моисеев, Ярандин, Кухарев и Женька Трегубов со своим баяном. И не только они, не только они… Все в синих робах х/б, словно собирались сдавать зачёт по такелажному делу или по знанию снастей.

Но жизнь брала своё. Новые времена – новые песни. В свободное время пытался что-то писать, но брался, само собой, за морскую тематику. Знал, что не похвалят, но спешил запечатлеть, пока Урал не стёр море из моей памяти своими лохматыми елями. И вообще, плевал я на указки! Всё равно никогда не напишу то, чего не хочу. Пущай газеты ратуют за связь с народом, идейность в духе соцреализма – к чёрту! Всё это пустые слова. Искусство субъективно, а художник обязан изображать то, что прошло через сердце. Море для меня – кусок жизни, а чужие берега оставили в моей биографии след, который хотелось перенести на холст.

Терёхин мастерской уже не имел. Правление отобрало, посчитав, что она использовалась не по назначению. Его шикарный мольберт, сделанный под заказ, стоял в алтарной части бывшего храма, в котором располагались художе-

ственные мастерские. Теперь им пользовались все, кому заблагорассудится. У него был шкаф на третьем этаже, стол и все не занятые производственной текучкой метражи мастерских, где бы он мог расположиться для творческой работы. Уже при мне он писал свой последний большой холст «1905 год» в выставочном зальце Дома художника, взгромоздив его на стулья и прислонив к стене. Охлупина тоже наказали. Отобрали просторное помещение на Декабристов, но хотя бы дали «малолитражную» комнату в Доме художника. Кажется, произошла рокировка с Алексеем Бурлаковым, обильно покрывавшим краской большие холсты. Аркаша предложил мне работать у него, но пока в этом не было надобности, а кроме того я видел, каково приходится хозяину на том пятачке, где не нашлось бы места даже для лишнего стула.

Как и во всяком творческом союзе, в здешнем тоже имелись течения и противотечения, группы по интересам, теснившиеся возле кормушки заказов. Молодые и более ухватистые отпихивали и спихивали старичков с «корабля современности». Напора у них хватало. Я знал это и раньше, знал по Москве и Кёнигу. И вообще, я ещё не акклиматизировался и не созрел для чего-то серьёзного, а для небольших начинаний хватало места на Железнодорожников, где, правда, было темновато: окна выходили в старый густой сад, за которым высился сарай, поэтому в комнате даже в солнечный день царил полумрак.

Акклиматизация в творческом плане требовала знакомства с творческой средой ареала обитания. Так сказать, со здешней флорой и фауной. Начал с выставки Бориса Витомского в картинной галерее. Она не поразила воображение. Всё было в русле времени, то есть «всё путём», добротно, а значит, обычно. Но этюд «Карское море» навёл на размышления: по меридиану оно находилось довольно близко [от Свердловска]. Не слишком близко, но довольно и того, что оно всё ж таки было достижимо при некотором усилии, расходе средств и энергии.

Однажды Терёхин привёл меня к своему брату Роману. За бутылкой разговорились о картах, разумеется, географических. Ромка достал пятивёрстку Урала, напечатанную ещё в сорок пятом году.

– А ты можешь достать такую же для приполярных мест? – спросил я.

– А зачем тебе? – спросил он.

– Да вот, – говорю, – я и твой брательник решили стать землепроходимцами и героями Арктики. Позарез нужно к белым медведям!

– Возьмите меня! – загорелся Роман. – Я же в УФАНе работаю, а за Салехардом есть наша база, у базы – катер. Возьмём письмо из УФАНа и закатимся!

– А куда ходит катер?

– По всей Обской губе ползает, вплоть до острова Белый.

Ударили по рукам, но «героями Арктики» мы не стали.

Дня через два после «судьбоносного» разговора мне повстречался Давид Ионин. Председатель правления творческого союза вдруг предложил устроить «среду» в Доме художника.

– Надеюсь, ты не зря болтался по свету? – спросил Давид. – Есть что показать?

– Вроде есть…

– Стыдно не будет?

– Стыд глаза не выест! – ухмыльнулся я.

– Мне выест, Миша, не тебе! – хохотнул он.

– Давид Маркович, а вы зайдите ко мне на квартиру, – предложил я. – Посмотрите, а после решите, стоит ли овчинка выделки.

– Нет, Михаил, уволь. Всё принесёшь в Союз, но если я заверну оглобли, не обижайся. И поторопись, пока наш зал пустует.

Давид дал добро; Серёжка Архипов, соратник по телецеху, испачкал чёрной краской лист ватмана – и в мастерских худфонда появилось объявление-извещение о «среде». Я сам прикнопил его. Возле него и выловил меня записной остряк Николай Алёхин.

– Мишка, а ты оказывается живой?! – завопил он, хлопая себя по ляжкам. – А мы читаем бумагу, в глазах черно от траура, от слёз глаза и вовсе ослепли. Поняли, что похороны в среду и кинулись заказывать гроб и венки.

– С гробом, Никола, вы поторопились, а венки сгодятся.

Только лавровые закажите.

– Не венки, а венок. Тебе и одного хватит, чтоб варить супы до конца жизни.

На развеску ушёл день. Помогали Терёхин, Аркаша, Саша Немиров, Виктор Пьянков и Коля Собакин, а также «соратники»: Архипов, Алька Туманов и Эдик Захаров. Бригада собралась большая, но Охлупин и Терёхин правили железной рукой, поэтому обошлось без дискуссий и лишней беготни. Только управились – появился Фёдор Шмелёв, которого я совсем не ждал в этот вечер, да ещё в поздний час. Вообще опасался встречи с ним. Думал, он припомнит мне побег с пятого курса училища, а заодно и ретираду из Суриковки. Однако Фёдор придерживался принципа «кто старое вспомнит, тому глаз вон». Он медленно шёл вдоль стен с этюдами и парой законченных холстов, я следовал в кильватере и, слушая его, мотал на ус.

– Я думал, что должно быть неплохо, но не думал, что так хорошо… – бормотал Шмелёв, не оборачиваясь ко мне. – На месте Союза я бы дал вам, Миша, побольше денег и отправил писать, куда пожелаешь… Нужно бросить эту вашу телестудию и работать, работать, работать… и отказаться от кое-чего… да, отказаться от стакана портвейна каждый день, от «Волги», от трёхкомнатной квартиры…

«Эх, Фёдор Константиныч, вашими бы устами да мёд пить, – думал я, фиксируя пожелания. – Денег мне не видать как своих ушей, „Волги“ мне и даром не надо, а кто же от-

кажется от квартиры? Только святой или круглый дурак. Я, может, и дурак, но не круглый, а угловатый…»

– Пройдёшь по иной выставке, – продолжал ворковать старик, – и ничего не увидишь. Нет ничего на ней, вот какие дела. У тебя, Миша, чувствуется душа: работы волнуют.

Я – не спорю – млел от этих слов. Во-первых, Фёдор продолжал оставаться для меня бесспорным авторитетом, во-вторых, он как бы подтверждал слова Аркадия Охлупина, сказанные ещё до развески, когда этюды стояли вдоль стен: «Твою выставку надо бы на место Витомского, в галерею, а его – сюда». Домой летел, как на крыльях, или, что лучше, на всех парусах – под парусами надежды на то, что если и будут ругать на обсуждении, то не шибко.

«Среда» не стала однодневкой. По словам Ионина, «она заслуживала внимания». Выставка висела уже месяц, а обсуждение откладывалось со дня на день. Он жалел, что не дал афишу на улицу, ограничился объявлением в Доме художника. Зато, сказал Давид, расскажем о ней в «Вечёрке» и пригласим телеоператора для подачи в эфир, тем более выставкой заинтересовался Борис Павловский. Мол, хочет на обсуждении толкнуть речь. Подруга подсмеивалась надо мной: «Любишь, Гараев, когда тебя хвалят!» Гм, люблю ли? Люблю не люблю, а приятно, если людям нравится сделанное тобой. Для чего-то же я бросил море?! Ведь не для того, чтоб меня ругали! Пошёл второй месяц, начался август. Я начал думать, что обсуждения не будет и ждал команды убирать

выставку. Но позвонили в цех из телевизионных новостей: «Зайдите, мы отсняли вашу выставку, надо сказать для эфира пару слов». Зашёл. Сказал две пары, в том числе названия работ уточнил. Пожаловался оператору на тянучку с обсуждением, но тот заверил меня, что обязательно будет. Однако сначала Ионин уехал в командировку, потом умер художник Вахонин. Гроб стоял среди моих марин. После похорон встретил во дворе Дома Александра Бурака. Мэтр впервые сам изволил заметить меня и приласкать. И это при том, что на открытии выставки он ничего не сказал в мой адрес, а напустился ни с того ни с сего на Володьку Мамонтова.

– Молодец, Гараев, молодец! Оч-чень интересно, много повидал и даже кое-чего добился. Я, правда, смог только пробежать, мельком взглянуть, но обязательно посмотрю более внимательно.

«Этот, кажется, ругать меня не будет», – резюмировал я, готовясь к завтрашнему дню, ибо Ионин сказал, что больше с обсуждением тянуть нельзя.

И оно наконец состоялось.

Зал, на удивление, был полон! Я сидел ни жив ни мёртв и, само собой, волновался пуще, чем на парткомиссии, когда открывали загранвизу. Основные оппоненты, которые задавали тон всем выступлениям, Бурак, Гаев, Друзин, Белянкин, Ионин, Витомский, Ефимов говорили примерно одно и тоже. Начал Друзин.

– Знаю Гараева ещё по художественному ремесленному

училищу. Он и тогда много работал. Потом встретились в Суриковском институте. Сбежал из него Михаил, но, думаю теперь, правильно сделал, что сбежал, – рубанул Володя. – На стенах, в основном, одни этюды, и это понятно – походный материал. Но этюды крепкие, и я не обиделся, – он засмеялся, – когда Гараев не подарил мне вон тот этюд с деревянным траулером на ремонте. Впереди настоящая работа, а этюд – рабочий материал. Словом, выставка состоялась. Миша, поздравляю тебя.

– А может Гараеву всё-таки следует закончить институт? – начал с вопроса Бурак. – Я боюсь, как бы всё это не оказалось мыльным пузырём: сверкнул, лопнул и исчез. Гараеву ещё предстоит найти себя. Есть живопись? Есть. Есть графика? Есть. Рисунки? Тоже есть. Так надо на чём-то остановиться. И тематика… Море, конечно, у него получается замечательно, корабли и всё такое, но мы живём на Урале, а что, если подумать, покажет Гараев на выставке «Урал социалистический»? Снова море? А чем он отразит наш край? Нет, товарищи, промышленный Урал, опорный край державы, требует от нас, живущих здесь, особого подхода к теме. К нашей теме! Надо Михаилу определиться с ней и, повторяю, остановиться на чём-то конкретном.

– Что тут останавливаться?! – вскочил Гаев. – Живописца видно сразу – пусть пишет, как пишется. И потом, почему обязательно Урал? Почему на Урале не может быть своего мариниста? Что это за особая такая вотчина – Урал? Человек

любит море, его чувствует и понимает, так пусть и пишет его.

Выступали ещё и ещё. Равнодушных не было. А итог подвёл Ионин, сказав, что Гараев явный живописец, он наш, мы его знаем давно, и мы ему, в случае чего, всегда поможем.

– Взять да и принять его в кандидаты, – подсказал Охлупин.

– Аркадий, – повернулся к нему Давид, – не стоит об этом говорить. Ты знаешь не хуже меня, что для кандидатства нужно участвовать на выставках хотя бы городского и областного масштаба. А уж там, дальше, на зональных и республиканских. В художественные мастерские его направим хоть завтра, а пока… Завтра сфотографируем часть работ, фотоснимки отправим в руководящие органы Союза художников на предмет предоставления творческой дачи в Хосте, Паланге или Майори, а часть выставки, работ сорок, покажем в Белоярке, в Доме культуры райцентра. Этим и положим начало. Остальное зависит от самого Гараева.

Так начался первый год сухопутного периода моей жизни, а заканчивал я этот год на славной реке Волхов, в Старой Ладоге – городе на пути из варяг в греки.

Живописец должен изображать не то, что видит, а то, что будет увидено.
Поль Валери

Творческая дача занимала флигеля и строения бывшего поместья князя Шаховского на левом берегу Волхова.

С нашего, дачного, берега город Старая Ладога был виден как на ладони. Солнце вставало на нашей стороне, а заходило за городом, на том берегу. Оно опускалось за крышами, за куполами многочисленных церквей и пропадало окончательно за дальними полями и перелесками. И тогда древний храм, родной брат того, что высится на Нерли, почти сливался с берегом и купами голых деревьев, и только его одинокая маковка чётким силуэтом очерчивалась на фоне вечерних облаков. Отделённый притоком реки от городских строений, он стоял на высоком мысу, рядом с восстанавливаемой древней крепостью. Поблизости находился и курган, о котором говорят, как о могиле легендарного князя Олега.

– Здесь коренная Русь, – гордо заявил учитель Виноградов, местный гид и знаток всех достопримечательностей. – Пусть говорят про Киев, что хотят, но там Русь Киевская, а здесь, товарищи художники, своя, доподлинная.

– Кондовая, посконная, лапотная и домотканая, – вторя ему, добавил Юра Кузнецов, с которым мы соседствовали кроватями в спальном корпусе и мольбертами в мастерской на четыре персоны. Юра был знаком с Жекой Лаврентьевым, так как членствовал в том же областном союзе художников. Это сблизило нас. К тому же Кузнецов был живописцем со своим почерком. Я называл его «реалистом с левым уклоном», в отличие от Лены Рукавишниковой из Ярославля, которая была «оппортунистка чистой воды». Её мольберт стоял у окна, где творил и москвич Иосиф Рывкин. Этю-

ды она писала, всегда уединившись, но в свободное время повсюду шлялась только с Кузнецовым и со мной, а мы забирались и в лесные дебри, и в деревню Чернавино (родину академика Максимова, автора картины «Приход колдуна на крестьянскую свадьбу»), однажды, помнится, плутали по каким-то оврагам, а после, близ Волхова, набрели на осыпавшиеся, поросшие травой окопы. Река катила внизу стылые осенние воды, траншеи были полны палой листвы, а левее, на том берегу, высилась самая крайняя церковь Старой Ладоги. Всё остальное скрывал изгиб реки, её высокий берег, ощетинившийся кустарником. Тогда мы впервые заговорили о живописи. Каждый понимал её по-своему, каждый защищал свой «окоп» до последнего патрона.

Впрочем, всё это было позже.

Общая мастерская сблизила нас. Соседи, даже молчаливый Иосиф, не роптали, когда я начинал «вокалить» свой устоявшийся репертуар. А состоял он из песен Вильки Гонта, и в основном, орал я «В нашу гавань заходили корабли, большие корабли из океана, в таверне веселились моряки и пили за здоровье капитана». Закончив одну «корабляцкую» песню, начинал другую, о «Жаннетте», которая «в Кейптаунском порту, с какао на борту» уже давно, с моего ушедшего в далёкое прошлое детства, всё «поправляла такелаж». Я как-то спросил сотоварищей, не мешают ли им мои вопли, и оказалось, что им «песня строить и жить помогает» их своеобразные композиции, потому как в них, в пес-

нях моих, нет «вонючего соцреализма». С тех пор, стоило мне открыть рот, Лена извещала, что «пираты затаили все дыханье».

Так мы и жили. Дачная команда состояла из ленинградцев и москвичей, москвичей подмосковных и волжан. Я оказался белой вороной, залетевшей в Европейскую Россию из-за уральского хребта.

Закончив экскурсию, учитель проводил нас до переправы, а за рекой мы гуськом потянулись восвояси под сырым пухлым небом, почти не просыхавшим все последние дни.

– Имение князя уцелело, потому что имеет и поныне утилитарное назначение. Вдобавок находится на отшибе, – вдруг обронил Олег Кротков, оборачиваясь к нам. – А тут памятники двенадцатого века, но в каком запущенном состоянии эта красота! Были в Чернавино? Там ещё при Иване Грозном поставлена церковь Василия Каппадокийского, но в каком она состоянии?!

– Только здешняя, что ли? – меланхолично заметил Кузнецов. – Прекрасно знаешь, что всем на всё наплевать. Возьми даже наш контингент. Сейчас бы, к примеру, сообщили, что взорвали Василия Блаженного, уверен, это взволновало бы не больше пяти его процентов. А сказали бы, что из кармана рупь спёрли, начались бы ахи охи: что? где? как?!

Я видел ту церковь. Даже рисовал её со всех сторон. Сколько веков простояла, сколько всего повидала, а во что превратился сейчас этот чудесный храм?! Сквозь купол-лу-

ковку вороны летают, внутри всё заплёвано, на полу дощатом лузга подсолнечная. Без семечек здесь не смотрят «кина»… Тоска зелёная!

– На Каме, напротив Березняков, была вотчина графа Строганова, – сказал я в спину Кроткова. – Стояли солеварни, но я не о них. Есть там— во всяком случае была – Никольская церковь. Предполагают, что построил её Воронихин, который и родился в Усолье. Когда я там побывал, в нишах у входа ещё сохранилась кое-какая живопись темперой. В одной был изображён довольно странный апостол: позади него была намалёвана палитра с кисточками, слева – мольберт с иконой, а внизу художник изобразил голову быка. Мы всё гадали, причём здесь бык, но так ни до чего и не додумались.

– Бык… действительно, причём здесь бык? – спросил шедший позади москвич Вася Порозов. – С апостолом ясно. Иконописец себя изобразил, а бык… Может, что-то связанное с тамошними легендами?

Я пожал плечами: легенд тамошних я не знал. Дальше шли молча.

В Усолье, помнится, встретили мы архитектора Зыкова, выпускника стройфака Уральского политеха. Он приехал из Соликамска с группой студентов, бывших учеников Охлупина (тот преподавал на факультете рисунок), но и Зыков, ставший нашим гидом, ничего не мог сказать по поводы бычьей головы. Забрались на крышу церкви. Окна в барабане

были заколочены досками. От гида узнали, что в нём есть фрески, но такие чёрные, что разобрать ничего нельзя. «Расчистить бы, да кто пустит, – сказал Зыков, – если внутри какой-то ведомственный склад. А в той, – указал он на дальние маковки, – расположился химзавод. Ехать туда нет смысла».

И тогда мы направились к Рубежской церкви, построенной в 1763 году. Воздвигли её будто бы два купца. Они, в отместку за что-то, подожгли своего конкурента, а сгорела половина Усолья, вот и пришлось потрясти мошну во искупление вины. Время и люди не пощадили её, тоже превратив ныне в складское помещение. И хотя эта церковь была изрядно порушена, она всё ещё была очень красива по рисунку своего силуэта, к тому же имела очень симпатичную ограду и такие же ворота.

Самым старым в Усолье оказался собор, названия которого я, сколь ни тужился, припомнить не мог. Помнил год постройки (со слов Зыкова) – 1727, а название – нет, хоть убей! В нём находился пивзавод, а потому здание было здорово испохаблено, но… шли уже какие-то реставрационные работы. Собирались якобы реставрировать и находящиеся рядом дома Голицына и Строганова. Здесь мы расстались с гидом и студентами. Они возвращались на свою «главную базу» в Соликамск. Терёхин заявил, что не уедет отсюда без этюда и начал писать дом Строганова. Мы с Аркадием тоже достали этюдники, но вернулись к Рубежской церкви. Он занялся её воротами и оградой. Я ушёл к Никольской, за ко-

торую и принялся, изобразив целиком на четвертушке картона.

В эту ночь мне не спалось. Сказались, видно, нахлынувшие воспоминания об Усолье, подогретые к тому же местной стариной. Они как бы сливались в одно целое. Уснул, лишь твёрдо решив завтра же переправиться через Волхов с большим холстом, забраться на кровлю крепости, что у древнего собора (его я уже написал до того) и заняться панорамой Старой Ладоги. Мне казалось, что осилю её за один присест. Впрочем, так оно и вышло.

Да, так оно и вышло. И вышло, кажется, довольно сносно.

– Ай да боцман! – сказала Лена. – С чего бы это? Уже не картиночки, а на́чало кое-что получаться.

– Боцман спит, спит, а потом как даст! – сказал Юрка и добавил: – Он, наверное, во сне видел своё Усолье, – и, сказав это, в общем, был прав.

Ласковое слово и кошке приятно, а тут меня похвалили (хотя бы интонацией) «формалисты-оппортунисты», как я их называл. Нужно сказать, что европейцы часто посмеивались надо мной. Узнав, что я с Урала, называли «предателем». Я не понял и спросил, почему? Объяснили. Я и до того часто здесь слышал, как Владимира Серова с его Ленинианой поминают недобрым словом, а тут выяснилось, что он баллотировался в президенты академии от Свердловского союза художников. «У нас в искусстве царит аракчеевщина, – говорил Юрка по этому поводу, – и пока она есть, ис-

кусства не будет». «А что будет?» – спрашивал я. «А будут Холуевы с их „Солдатами революции“, – отвечал он запальчиво. – Я такую живопись в грош не ставлю!» Я был согласен с ним: велика Федула да дура! Однако поинтересовался мнением и о «Геологах» Никонова. «Её хотя и ругают, – ответил он, – и есть у неё недостатки, но лучших геологов у нас просто нет. Посмотришь на никоновских и сто раз подумаешь, идти ли в геологи. Видно, что труд у них несладкий. А то намалевали таких, что не поймёшь, кто они: то ли туристы, то ли… Для этих, картинных, в лес сходить – будто посрать за кустиком и вернуться обратно. Да что с тебя взять, Мишка, если ты сам натуралист вроде Холуева!» Я не обижался на него, но и не соглашался. Холуев писал уверенно и хлёстко. Владимир Ильич, бодро, летящей походкой, шагавший вдоль шеренги красных бойцов, стоявших на фоне кремлёвской стены, как бы олицетворял собой твёрдую поступь социалистического реализма, его размах, замах и сиюминутную нужность. То есть – всё то, что меньше всего занимало меня, чурающегося нужд соцарта и знающего свою тему, однако же я хотел подавать её без кривляний, без попыток выдумать заново что-то давнишнее в попытке создать некую новую красоту, далёкую от идеалов прекрасного, как я его понимал.

Каждый вечер мы спорили о «левых» и «правых» течениях в искусстве. Мои позиции были крепки, «как спирт в полтавском штофе», но Кузнецов привносил в них толику со-

мнений, так что приходилось задумываться. Добротно сделанных ёлок и берёзок – навалом, думал я, и если к ним добавить ещё десяток пейзажей того же рода, это никому ничего не даст и ничего не изменит в существующем порядке вещей. Да, надо искать новые образы через своё видение, но это не значит, что нужно загадывать людям ребусы. Живопись, говорил я Юрке, должна воздействовать на чувства и психику, а не на серое вещество, как у Лены.

– Балда ты, Мишка, хотя уже что-то кумекаешь. Да она же здесь единственный настоящий художник! Ты на её этюды взгляни!

– Вывихи и ребусы.

– Лена, покажи ему свои натуралистические этюды, – попросил Кузнецов на следующий день.

Она показала два пейзажа, написанных в довольно реалистической манере. Красивые по цвету, они мне понравились. Затем пошли такие левые штучки, что я не знал, что сказать, и открыто хмыкал и смеялся. Один этюд был совершеннейшим ребусом, и я его, совершенно интуитивно, как ребус и отгадал: это подсолнухи, это лодка, это отражение церкви.

– Смотри-ка! – досадливо удивилась она. – Ещё натурализм остался!

– Ладно, Лена, хватит его развращать, – засмеялся Юрка. – К концу сезона сам всё поймёт, если он художник, а не парчушка.

О Рукавшниковой говорили как-то и Олег Кротков

с Иосифом. Олег доказывал Рывкину, что Лена мыслит образами, что у неё этюды превращаются в картины. Тот соглашался. Был, очевидно, не таким твердолобым, как я.

Я уже год как не обращался к натуре, поэтому, чтобы расписаться, ограничивался небольшими картонками. И погода гадила. Мерзкой была погода: то снег, то дождь, то всё вместе. И холодрыга. Темпера застывала на кисти, и это удручало больше всего. Старички вообще не покидали мастерских. Иногда и я присоединялся к ним. Симпатичен мне был добрейший Аб, коренной ленинградец. Во время оно Павел Ефимович закончил ВХУТЕМАС. Небольшого росточка, лысый, как бильярдный шар, он, заполучив слушателя, мог говорить сколько угодно. Аб знал всех и вся. И конечно всех знаменитостей. С тем он учился, с этим рыбачил, с тем ходил на охоту. Начинённый тысячами историй, он не мог держать их в себе, и они сыпались из него, как из рога изобилия. При всём при том он был готов хоть в чём, хоть както помочь каждому. Другой старикан, Фельцман (кажется, дядя композитора), в противоположность Абу, не отличался общительностью. Когда находил на него такой стих, запивал. Однажды мы с Кузнецовым нашли его в полях и доволокли до кровати. Не смог живописец добраться из Чернавино, где набрался, доковылять до рабочего места. На следующий день, обнаружив его в ближнем лесу, когда он азартно атаковал натуру, я не удержался и написал с него первый приличный этюд.

Холодными вечерами мы собирались в столовой и рисовали друг друга. Позировали по очереди. Я приглядывался к тому, что получается у соседей, и убеждался в откровенной слабости их рисунков. Я не злорадствовал, но всякий раз вспоминал Охлупина и Терёхина, их профессионализм, академическое мастерство. Когда я позировал в студии, созданной ими же при мастерских Худфонда (она ютилась в «алтаре» расхристанной церкви), я уже мог судить о степени мастерства всех, кто присутствовал на занятиях. Лучшими рисовальщиками были они, мои друзья-покровители. Рисунки Аркадия отличались строгой, быть может суховатой, законченностью, Володины – живописной размашистостью, но что было общим, так это академическое знание анатомии и точность изображения натуры. Я вспоминал их рисунки даже в институте, а мой побег из Суриковки частично был подсказан унылым осознанием того, что мне никогда не достичь их мастерства, а значит все труды и потуги пропадут втуне, ибо только свободное владение материалом может обеспечить маломальский успех на избранном поприще.

Это было моим кредо и главным аргументом в спорах с Юркой и Леной. Кредо, впрочем, было и у них, поэтому все наши диспуты на этом поприще заканчивались ничем. Они были старше и опытнее, а я не был изощрённым софистом. Вдобавок, был тяжкодумом. Хотя я искал нужные доводы, «хорошая мысля приходила опосля». Они говорили, что искусство не стоит на месте. Оно обязано идти в ногу

со временем. На дворе век космоса, а ты, Михаил, кормишься остатками тухлого реализма. Художник не должен топтаться на месте. Да, мы не достигли пока желаемого, но мы постоянно ищем свой язык.

– Пока что вы показываете язык и стремитесь переплюнуть друг друга, – огрызался я. – А есть ли новые пути? Сегодня кубизм, завтра модернизм, после другие «измы». Ну и что? Стремление нынешнего «новатора» превзойти вчерашнего – это и есть топтание на месте. Искусство постоянно в своих законах, всё остальное зависит от степени мастерства, от умения сочетать «ловкость рук» с возможностями ума и движений души и сердца. Есть же Ван Гог, есть Гоген, которые переплавили реализм подвижничеством и страстью! Они создали шедевры, потому что сохранили его основы. А вы стараетесь для пресыщенных снобов! Они считают себя культурной элитой и верят, что стоят выше толпы.

– Примитивно мыслишь, боцман, – услышал я от Лены.

– И тут набрасывается на меня собачонка системы пудель, … – более зло зацепил меня Юрка, кажется, фразой от Зощенко, на что я ловко ответил своей, вычитанной недавно у некоего Хаббарда:

– Если вам нечего ответить своему оппоненту, не всё потеряно: вы можете сказать ему, что вы о нём думаете.

Мы посмеялись и мирно разошлись, как… как лодки, пересекавшие Волхов в разных направлениях.

Как бы то ни было, но дни худо-бедно проходили в трудах

праведных. А сезон кончался. Первым уехал «почитатель Коро» Яков Тарасыч Бесперстов. Он продал мне пять листов картона, и я, уже задыхавшийся без оного, ожил и пользовался теперь каждым солнечным или просто сухим часом. Затем исчез Вася Порозов, знавший Хва́лю и Шацкого, знавший Друзина, Рыбкина и Селиверстова. Вася «подозревал», что и мы с ним могли встречаться хотя бы в буфете института у тёти Кати. Так как и я «подозревал» то же самое, то общение с ним согревало душу. Потом укатили Толя Руткин и Олег Кротков. После них засобирались Кузнецов и Рукавишникова. Юра подарил мне этюд с одним из здешних храмов. Лена ограничилась «наилучшими пожеланиями на стезе натурализма».

– «Ребусы» мои тебе не нужны, – сказала она, – а других, в твоём вкусе, у меня нет.

Я мог бы покинуть дачу ещё неделю назад, но ждал письма из Кронштадта от Сани Ушакова. Он, взятый на флот ещё с «Меридиана», служил последний год, преподавал дизеля в школе подплава и обещал мне сделать пропуск на остров, запретный для сухопутных крыс. Туда я и отправился, когда пришло письмо: «Можешь ехать: пропуск сделан, лежит на КПП».

От Кронштадта мало чего осталось в памяти. Конечно, я пошатался по улицам, посмотрел на каналы и бастионы, полюбовался собором и памятником адмиралу Макарову, но пришло время возвращаться к школе подплава. Ушаков

уже освободился и ждал на проходной с двумя старшинами, сослуживцами и мичманом.

У него и бросили якорь, но слишком крепко поддали у Санькиного начальника. Тот, правда, бросив в шкаф пистолет и переодевшись в штатское, вскоре отвалил до утра «на танцы и к бабе», но с нами остались старшины. Несмотря на то, что повторный «верстовой столб», который мы тут же воздвигли, оказался мощным по количеству градусов, сон мой в ту ночь продолжал жить прошлым, которым и сам я жил все последние дни. Снилась мне Кунгурская пещера, тёмная, мрачная и сырая. Со свечкой в руке пробирался я в группе, следом за Охлупиным, Терёхиным и проводником, к гроту Данте и каменному чудовищу в нём, которое ожило, когда мы отошли от него и погасили свечи, а проводник плеснул перед ним керосина и поджёг его. На фоне красного зарева это чудо-юдо выглядело впечатляюще. Динозавр да и только! Я смотрел, но мучился от того, что в глухой тишине подземелья отчётливо были слышны шаги многих ног, слишком похожие на топот солдатских сапог. Они разбудили меня и погнали к окну: мимо дома шли матросы в чёрных шинелках, из-под которых торчали синие рабочие шкары, а их говнодавы выцокивали подковками побудку для жителей окрестных жилищ. Мы ещё подкрепились остатками застолья. Военморы слегка, я как свободный художник – гораздо круче, так что в Пулково, садясь в аэроплан, помнил лишь мачты «Крузенштерна», который в то время ремон-

тировался на Морском заводе. Они, мачты, были видны даже из Ораниенбаума, где я сошёл с катера на причал. Окончательно пришёл в себя только в [свердловском аэропорту] Кольцово, радуясь, что не посеял этюдник и груз впечатлений, запечатлённый на картоне и холстах. Груз сомнений, который появился благодаря Кузнецову и Рукавишниковой, так и остался на творческой даче. На Урал я вернулся без него.

> *Время, – добавил он поучительно, – наш лучший друг, если мы умеем им распорядиться, и наш худший враг, если мы позволяем ему распоряжаться нами. Большинство из тех, кто живёт по часам, несчастные существа. Если живёшь по солнцу, тогда другое дело.*
> *Клиффорд Саймак*

Наши мечты, казалось бы, давно засохшие на корню, иной раз сбываются самым счастливым образом. Давно я думал о поездке в Москву – и вот свершилось. Как много в этом слове для сердца моего… Сбылось! Здравствуй, моя столица, здравствуй, моя Москва-матушка, ёлки-палки…

Разглядывать серокаменную желания не было: не за тем стремился. Цель, конечно, спрессовалась в обойме «Москва и москвичи», но всё же «и москвичи», как патроны, главенствовали в ней. Ведь говорил же мой и Жекин однокашник по институту Костя Чаругин: «Кому Москва – матушка, ко-

му – мачеха». И если я упомянул Костю, то его и встретил, когда покинул метрополитен имени Каганови… тьфу, Ленина имени и, выйдя у Маяковского, зажмурился, ослепнув от яркого солнца. Поднял веки, как старец Вий, а Костя тут как тут – нос к носу! Столько лет прошло, а сразу узнали друг друга. Не зря, знать, полтора учебных года варились на Трифоновке и Таганке в одном котле под чутким руководством Феди Модорова!

– Ты кого здесь пасёшь? – осведомился я, когда мы слегка обнюхались.

– Лаврентьев понадобился, – ответил Костя. – Ты ведь тоже к нему? А Женька за городом, в своей боярской вотчине, как доложила мне его боярыня Жанна.

– А не в мастерской, не в Подольске?

– Нет, точно говорю.

– Значит, в Спас-Темню отчалил. Махнём, живописец Чаругин, на природу?

– Рад бы в рай, да грехи не пущают.

– Ну тогда бывай!

Маршрут был известен: с Курского до Серпухова на электричке, там – автобусом до Мерлеева, оттуда – прогулочным шагом меньше часу хода.

Покинув автобус, я пустился в дорогу. С походной сумкой на плече шагалось легко. Сердце пело, предвкушая долгожданную встречу, я тоже мурлыкал переиначенную бабью походную: «Идём, идём, весёлые подруги, страна, как друг,

зовёт и любит нас! Везде нужны заботливые ноги и наш стеклянный мужеский припас». А припас имелся: два пузыря в походной сумке пилигрима. Пел да не допел, соловушка, сражённый эпической картиной, сравнимой лишь с историческим полотном «После побоища Игоря Святославича с половцами». И небеса в знак скорби вдруг пролились слезьми, ибо как не рыдать им, если поперёк грунтовки, в стародавней луже, лежал, богатырски раскинувшись и выбросив вперёд руку с кнутом, молодой пастух, удалой питух. Ба, знакомая картина! Когда-то, и почти на том же самом месте, я уже созерцал нечто подобное. Правда, тот коровий опекун был старше этого: бороду до груди я запомнил хорошо. И не было рядом нынешнего натюрморта: на пне у дороги, под охраной стоптанных кирзачей с наброшенными на голяшки портянками, расположилась ополовиненная бутылка «московской», рядом зеленели огурец надкусанный и пёрышки лука, имели место и ломти хлеба. За дорогой жевали жвачку коровы и смотрели на своего пастыря равнодушно. От леса, пересекая выгон, спешили другие бурёнки, конвоируемые страхолюдным бугаём с папуасским кольцом в ноздре. Что ж, смена смене идёт, что подтверждает также Екклесиаст: «Что было, то и будет: что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем».

О, Русь, малиновое поле!

За спиной моей затарахтел грузовик. Я, как и в прошлый раз, ухватив за лодыжки, поспешно выволок растебая из лу-

жи в кювет. А тут и грузовик промчался мимо, обдав нас потоками воды и грязи.

«Жива Россия! Ни хрена ей не делается!» – подумал я, хотя душа моя страданиями по-человечески уязвлена стала. Вытирая рожу и продолжая путь, но слегка поскучнев после внезапного душа, я невольно перешёл на ускоренный шаг. Теперь звучала во мне не игриво-фривольная тарабарщина, а суровый напев, исполненный вселенской печали: «Сами взорвали „Корейца“, нами потоплен „Варяг“», и, кажется, где-то над головой уже заплёскивали холодные волны и бились о берег крутой.

И наконец последний бросок – вот перед ним село большое! Слева, гм… тучные поля местного колхоза, справа, за кудрявыми зарослями черёмухи или ольховника, невидимая Нара катит под обрывам свои неторопливые воды, а прямо, у самой околицы, первая слева, евойная изба – Жекина. А вот и ворона Машка шагает по штакетнику. Из клюва долгожительницы торчат два рыбьих хвоста. Под штакетником, на траве-мураве, с тряпкой во рту, расположился соседский козёл Гаврила. Всё как прежде, мир и покой, идиллия сельской жизни, лишённая пьяной пасторали, которая только что осталась за кормой. Да, ничего не изменилось. Правда, козёл вроде поседел и борода стала вовсе куцей, как у сластолюбивого попика из гоголевских «Вечеров на хуторе».

«Итак, флора и фауна на месте, – подумал я, открывая дверь в сени, – хозяин, надеюсь, тоже не в райских кущах».

Хозяева – и не только! – сидели за столом, а рядом…

– Какие люди!

А рядом – Хва́ля (граф Хваленский, мужик деревенский), Ванька Шацкий, штурман Вечеслов и боцман Филя Бреус! Эти двое… Их присутствие! Оглушительная неожиданность! Я даже за печь заглянул: а не прячется ли там наша драгоценная докторша Аврора Фрицевна?! Ведь были у неё на «Козероге» шуры-муры с грубияном Филей, которые вполне могли завершиться определённым образом.

В полном восторге я сделал круг между печью, лавкой и дверью, отбарабанив подошвами несколько па аджаро-гурийского воинского танца, и прервал немую сцену очередным плагиатом, заготовленным в электричке:

Любезнейший Лаврентьев, Евгеша дорогой,
Прибрёл к тебе пустынник с открытою душой.
Я – гость без этикета, не требую привета, лукавой суеты.
Устрой гостям пирушку, на столик вощаной
Поставь пивную кружку и кубок пуншевой.
Старинный собутыльник! Забудемся на час.
Пускай ума светильник погаснет нынче в нас!

– Светильник начал коптить ещё в институте, а нынче и копоти не осталось, – тотчас отреагировал Жека, после чего меня принялись мять и тискать, стучать кулачьями по спине и вые, словно я был тестом, из которого собирались ле-

пить пельмени для этой самой пирушки, которая и началась, когда мы без этикета ринулись к столу в страстном порыве поскорее залить светильник разума «за встречу».

Застолье продолжалось до вечера. Да и как иначе? Нам было что вспомнить, а Хвале и Шацкому – послушать, ведь «Козерог» – а значит Галифакс, Гавану, Сантьяго-де-Куба, Ямайку, Ресифи и все скитания по волнам между ними – от нынешнего дня отделяли два года, а встреча была первой. Я узнал наконец, что Филя и Аврора, соединившись узами и пузами, обосновались в Загорске, а Ревтрибунал недавно вернулся с промысла у Фолклендских островов. Профессор Рудольф как-то заметил горестно в одном из писем ко мне, что наши рыбаки старательно уничтожают в этом районе сравнительно небольшую популяцию нототении. Выходит, и Рев приложил руку к этой неблаговидной акции. Что ж, если партия сказала, что остаётся рыбаку? Ответить «Есть!» и губить в океане всё живое. Особливо, редкое, а потому дорогое.

Иван весьма кстати прихватил из дома гитару. Ему, конечно, было далеко до Вильки Гонта, но и он мог кое-что. Во всяком случае, он и я, дуэтом, довольно сносно исполнили для Вечеслова его «семейную»: «На Диёвке-Сухачёвке наш отряд, а Махно тюрьму зажёг и мост взорвал. На Озёрки не пройти от баррикад, заседает день и ночь ревтрибунал». Филя, как обычно, заржал и, приобняв Ревтрибунала, предложил тяпнуть за его тятю, что когда-то, как Матяш, сидел

над зелёным сукном и, быть может, тоже отправил «в штаб Духонина» контру – родного брата. Ну да, а вдруг?!

– Мой тятя был суров, но справедлив, – усмехнулся Рев.

– Я всё-таки не понимаю одного, – сказал Шацкий, откладывая гитару. – Вот сидят моряки-рыбаки. Мишка сидит, который есть ренегат, но в то же время и блудный сын, вернувшийся под родной кров…

– …святого искусства, – подсказал я.

– Искусство бывает святым только в церкви, – возразил Хваля.

– Вот именно! – поддержал его Шацкий. – Наше искусство служит власти и самолюбию, если оно может его поддержать. Но я не о том. Мне интересно понять, как Жека мог пуститься на такую авантюру и попусту потратить столько времени, околачиваясь чёрт знает где. Ради чего? Ради нескольких этюдов?

– А мне всё равно, зачем и куда, лишь бы отправиться в путь, – процитировал Жека чьи-то строчки, знакомые ещё с институтских времён. – Пусть я привёз несколько этюдов, зато имею право пропеть вам: «А я, седой и пьяный, зову вас в океаны, и сыплю вам в шампанское цветы».

Он оборвал с букетика, стоявшего в банке посреди бутылок и тарелок, несколько ромашек и бросил их в стаканы Шацкого и Хвали.

– Не убедительно! – буркнул Иван, возвращая гитару на колени, однако сыграл «Мексиканскую румбу»,

как бы иллюстрируя места, где мы «околачивались» когда-то, а не «Подмосковные вечера» нынешнего пребывания моряков-рыбаков.

Светильник разума коптил до вечера, но, к счастью, не погас окончательно, и все камрады дружной оравой отправились в Мерлеево, чтобы запихать Шацкого в автобус: Ваньку ждали в столице какие-то срочные дела. Когда добрались до места, где возлежал коровий пастырь, было ещё достаточно светло. На пне по-прежнему стояла, конечно же опорожненная, бутылка, здесь же валялась забытая портянка, лужа тоже имела место и масляно блестела под молодой луной, но «витязь в коровьей шкуре», проспавшись и подкрепив силы остатками «микстуры» (где ты, Фокич?!), увёл на ночлег своих подопечных дам и их кавалера.

– Я сам два раза запинался за его ноги на этом месте, – сказал Жека, выслушав меня. – А один раз мы даже посидели возле пенька. И знаешь, Мишка, этот «витязь» оказался поэтом от сохи. Таким же «стилистом» как этот… ну, мотористт твой, Коля.

– Клопов.

– Ну да, Коля Клопов. Витязя тоже Колей кличут. Правда, он себя в варяги зачислил. Читал мне свою поэму. Называется «Из варяг да в Нару». Начало эпическое: «Когда с кнутом влачусь за тучным стадом»… Нет, погоди – не так. «Когда я с посохом влачусь за тучным стадом, ремённый кнут держа рукой другой, я вижу предка, а он был варягом, Мерлеем

звался предок мой былой».

Филя захохотал.

– Надо бы мою Аврору с ним познакомить. Она б ему и клистир вставила, и мозгу бы прочистила!

– Это тебе, Филя, нужен клистир, – хихикнул Ревтрибунал. – Не на «Козероге», поди!

– Филипп Филиппович, а почему вы приехали без жены? – спросил Жека, чтобы разрядить обстановку.

– Она на боевом дежурстве! – многозначительно заявил Филя, но уточнять не стал, умолк и замкнулся.

– Между прочим, друзья мои, с Клоповым я виделся накануне отъезда в Москву, – доложил Ревтрибунал. – У него что-то неладно, ребята. Хмурый был. Даже водка его не развеселила. Филфак забросил окончательно. Говорит, ни к чему мотылю университетская заумь. После каждой стопки ронял в стакан чугунную слезу, она стукалась о дно, как дробина, а он начинал очередной экспромт. Я переписал последний. По-моему, в нём – его нынешнее состояние. Хотите послушать?

Мы, естественно, хотели.

– Ознакомлю с документом, когда в деревню вернёмся.

Вернулись, само собой, с четырьмя пузырями. Свои я держал в засаде. Знал, их золотой час придёт, когда изнемогшие души окажутся в растерянности от непредсказуемости обстановки и фокусов совторговли. Когда опростали первую склянку, боцман Бреус, тоже непредсказуемый, вспомнил

о высокой поэзии в самой грубой форме:

– Рев Фёдорович, какого хрена молчишь? Излагай, п-паюмать, свой документ.

«Документ» выглядел, вернее прозвучал, в виде басни, что было необычно для виршей Коли Клопова, всегда отдававшего предпочтение лирическому сиропу, смешанному грязным пальцем маслопупа из солярки, бытовых отходов, бодряцкой дрисни и зелёных соплей.

На ветке сидели три птицы, развратных и бойких #### ################девицы:
Сорока, Ворона и Галка (в заначке – дубовая скалка).
Ни дома у них, ни копилки – одни лишь пустые бутылки
гремели в рогожном мешке, висевшем на том же сучке.
А ниже, проныра и мот, сидел весь лоснившийся кот.
С окурком на нижней губе пил пиво и жрал крем-бруле.
Котяра с блатными водился, на дело ходить не ленился,
хоть знал – это всё моветон, но всё же давил на фасон.
Ворона его не любила – уж больно отъелся громила!
Сорока трещала со стен, что Васька – не джентльмен.
А Галка имела заказ однажды влупить промеж глаз,
на радость честному народу, дебилу, жадюге и вору.
А кот-то жуировал рядом и был под ############# приличнейшим газом.
Ворона терпела пока… не какнула на кота. Случайно,
но жидко задела. А Галка терпеть не хотела.
– Доколе!? – вскричала она и скалкой б-бабах ######## ##########вдоль хребта.

Тогда и Сорока, вскипев, т-так клюнула ##########
####Васькину плешь!..
Охнарик отлип от губы, и ё… ся Васька в кусты.
Мораль этих виршей свободных: не жри ##########
##на глазах у голодных!

– Да-а, узнаю стилиста! – усмехнулся я. – Вот только от былого оптимизма нет и следа. Сдаётся мне, товарищи морепроходимцы и богомазы, что у нашего пиита что-то стряслось, коли он впал в гнусный пессимизм.

– Тебе, Миша, виднее. Но Клопов хорош уже тем, что довольствуется малыми формами, – сказал Жека, давясь смехом. – На эпические размеры его не тянет, как нашего коровьего пастыря. Что и губит его, между прочим. Хочется ему переплюнуть «Полтаву», пся крев! Я ведь давеча правильно начал ту строфу. Он её рефреном вставлял. Слегка менял смысл, но «кнут» и «стадо» оставлял обязательно. Вот такое ещё запомнилось:

Когда с кнутом влачусь за тучным стадом,
То взгляд мой зорок и упруг мой шаг.
Я думаю, что тем же косогором
Гнал к Наре ворога и предок мой, варяг.

– А скажите мне, служители муз… – Ревтрибунал хлопнул меня по плечу, чего никогда не позволял по отношению к Жеке, которого называл только Евгени-Палычем. – Ну, до-

пустим Клопову клопово – это понятно даже козлу Гавриле, а есть ли поэзия, которая бы у вас слезу вышибала?

– Гимн Советского Союза, – ответил Жека. – Выпьем и поплачем, а потом снова выпьем за третий интернационал – помянем Чапая, который, как клоповский кот, тоже недомудрил и канул в лету по имени Урал.

– Ты всё шутишь, Евгени-Палыч, но это же – гимн! Это же…

– Милый штурман, вот когда гнал к Наре ворога предок наш Мерлей с бородой до лаптей, тогда, наверно, капала у него слеза, и слизывал он соплю, слушая хотя бы того же Радонежского правдолюбца. А мне прикажешь слёзы слизывать, слушая полкового краснобая?!Ты видел глаза людей, которых выгоняли из аулов и, как скот на бойню, гнали в «телятники»? Ты меня прости, но ты ещё мал и глуп – не видал больших залуп! А мне однажды пришлось пройтись с автоматом между саклями. Для проверки послали, мол, не спрятался ли кто от справедливой кары советской власти.

Жека набычился, замолчал – видно, крепко резанула память по сердцу, но всё же закончил:

– И увидел я, друг Вечеслов, в кустах глаза мальчишки… И была в них, говоря высоким штилем, такая мировая тоска, такие ненависть ко мне и непонимание того, что же это делают двуногие в погонах, что я повернулся и ушёл. Не мог я взять его за шиворот и тащить к машинам, тем более – стрельнуть. Что с ним стало? Один! Может, выжил. Надеюсь.

Счастливый Хва́ля мирно посапывал на лежанке, привалившись носом к стене. Экс-военмор с «Марата» Филя Бреус мял в ручищах гранёный стакан и хмуро разглядывал сплющенную голову селёдки, которую только что слопал. Он вообще был силён пожрать, а при выпивке не знал удержу. Я же просто молчал, переживая за Жеку. Я-то знал со слов его жены, как он по ночам (слава богу, когда-то, не теперь!) стонал и скрипел зубами, вспоминая Кавказ и *те* глаза в кустах. И тут-то я, спохватившись, набузгал полные стаканы водяры.

– А меня, Рев, прошибает слеза, – поспешно сказал, поднимая свой, – когда слышу «Наверх вы, товарищи, все по местам, последний парад наступает! Врагу не сдаётся наш гордый „Варяг“, пощады никто не желает».

– «Все вымпелы вьются и цепи гремят, наверх якоря подыма-ают, готовые к бою орудья стоят, на солнце зловеще сверрркают!» – рявкнул бывший комендор Филя с такой силой, что Хва́ля проснулся и сел, ошалело протирая глаза.

Ему тотчас налили и подали.

– В отличие от вас, господа, граф Хваленский побывал у меня в Светлом, он…

– Как же, помним его возвращение и восторги о твоём «Меридиане» и подчинённых, – перебил меня Жека. – Мы его встретили, обмыли коньячком и вроде дали тебе телеграмму?

– О ней и хотел сказать. Вы помните её содержание?

– Откуда?! – удивился Хва́ля.

– Оттуда! «Приехал ели кактус соус КВВК для чего Хваленскому голова он ей пьёт Борька Хваля Лавр». Так как головы есть не только у Хвали, давайте выпьем ими за Вовку, – предложил я и был дружно поддержан обществом.

Собственно, приняли, чтобы вернуть прежнюю беззаботность и настроение дня, который давно утонул в Наре, оставив лишь соглядатайшу – холодную Селену, которой было плевать с запредельной высоты на все людские радости, на все их страсти, горести и подлости.

Филя, выпив, навалился на жратву и так наворачивал картошку и лук под хлеб с салом, что я, удивлённый его нынешней прожорливостью, не выдержал – хихикнул:

– Куда в тебя лезет, Филя? Обручи не выдержат – лопнешь!

– Знаешь, Мишка, я всегда говорю своей Авроре, когда она начинает заботиться о талии: надо не меньше есть, а больше срать, – ответил грубиян в своей обычной простодушной манере. И ваще, туда вошло, а дальше как хочет.

– Филипп Филиппыч, как всегда, в своём амплуа, – напомнил Жека.

– А чо я такого сказал? Вечно вы меня, Евгени-Палыч, в чём-то нехорошем подозреваете! – обиделся Филя, но тут же рассмеялся, и чтобы подтвердить своё «амплуа», не пропел даже, а проревел частушку:

– Снежки пали, снежки пали, а потом растаяли! Девки шишку обглодали, одну кость оставили!

Штурман тоже захотел высказаться, но я показал ему кулак, и Рев, задумчиво поразглядывав его, вдруг расширил глаза и стукнул себя по лбу пустым стаканом.

– Совсем забыл, Миша! А ведь я побывал на твоём «Меридиане» в его нынешнем виде!

– Никак тебя в Клайпеду занесло?

– Ну да. Сдавали остаток груза, я и – того, решил прошвырнуться, а как увидел над рекой три мачты с реями, сразу про тебя и вспомнил. Подхожу, а на сходне плакат с аршинными буквами «Ресторанас „Меридианас“». Решил заодно пообедать, а за столом оказался с твоим бывшим капитаном.

– С Мининым поди?

– С Юрием Иванычем. У него шашлык, у меня шашлык. У него графинчик на сто пятьдесят, у меня графинчик на те же граммы. И нашивки у нас одного качества. Выпили по граммульке, жуём свинину, высказались по её поводу, ну и слово за слово – разговорились и объяснились в любви, хе-хе, к общему знакомому. К тебе, Миша, к тебе. Я доложил о рейсе на «Козероге», он рассказал о ваших походах, о тебе расспрашивал, но ведь я и сам ничего толком не знал после вашего отъезда вглубь материка.

– Писал бы письма, знал бы…

– Не упрекай меня без нужды, Миша. Служба!

– Н-да…

– А потом к нам подсел длинный такой литовец. Он при

кабаке то ли боцманом числится, то ли механиком.

– Винцевич! – догадался я. – Виктор Ранкайтис. Был нашим стармехом.

– Вот-вот! Хорошо посидели. Я и адресок взял у Минина. Дать тебе?

– Есть у меня. Где сейчас Минин обретается? Не говорил?

– В Балтийском отряде учебных судов. В Клайпеде стоял «Менделеев», так он капитаном на этой баркентине. Ты ему напиши!

– Обязательно! А на «Меридианас» он забрёл, чтобы с Винцевичем повидаться, – догадался я, трезвея при мысли, что есть ещё на плаву баркентины, и есть на них люди, которые помнят меня.

Пока мы «обменивались мнениями», Филя разлил остатки, после чего, «погасив светильники», мы отправились на покой. Хваля прикорнул на той же лежанке, Филя притащил резиновый понтон и, водрузив его посреди комнаты, почил богатырским сном. Жека ушёл в чулан-мастерскую, я и Ревтрибунал устроились во дворе под навесом, где нам были приготовлены топчаны.

Штурман сразу уснул, а во мне всё ещё поскуливала струна, тронутая им. Вроде всё уже улеглось, устаканилось, как любил говорить тот же Бреус, а теперь «Меридиан» не шёл из головы и гнал сон. За оградой, над кудрявой порослью, мерцали звёзды. «Что же ты забываешь о нас в своей земной юдоли, – говорили они, – вспомни, как купаются топы мачт

в сумрачных струях Млечного Пути, вспомни и заплачь, если сможешь».

Я смог, а потом вытер ладонью глаза и… уснул.

Утром мы, спящие во дворе, были разбужены бодрым рёвом Филиппа Филиппыча. Такая разухабистость рванулась из его глотки, что стало ясно – похмельем Бреус никогда не страдал: «Мы плясали – с ног сшибали, вышибали косяки! Неужели нас посадят за такие пустяки?!»

– Боцман, кончай орать! – взмолился штурман. – Деревню разбудишь!

– Вы на Гаврилу гляньте! —засмеялся я. – В козле он уже разбудил зверя, рыкающего и алчущего… опохмелки.

Гаврила ломился в запертую калитку, совал в неё рога, но штакетник не поддавался и бородач обращался к нам с жалобным блеянием: «Пусти-итеееe!»

И тогда всей компанией отправились на реку, где уже купались мальчишки. Мы тоже совершили омовение. Обсохнув, поднялись к церковной ограде у старого сельского погоста. Присели на скамейку, уже облюбованную до нас бородатым аборигеном Костей, приятелем Лаврентьева. У его ног лежали две борзые – поджарые красотки.

– Евгений Палыч сводил меня к могиле чиновника Вечеслова, – сказал мне Ревтрибунал, —вот и не идёт с головы мыслишка, а вдруг на самом деле этот Пётр Фёдорович – мой родич по линии отца? Не знаю своей родословной и вряд ли узнаю.

– А ты не тушуйся, моряк! – посоветовал абориген. – Видите те липы? Вековые! За ними барский дом помещика Соколова. Вот кто увлекался псовой охотой! Его собачки славились не только в нашей округе. Вот этим моим «арлекинам» с пятнами у глаз именно Соколов положил начало. А спина какая, видите? Чепрачный окрас! – похвастался он, хотя, верно, знал, что мы ни хрена не понимаем в этих вещах. – Костромичи – те в носочках, с белой грудью и тёмной спиной. Гонять начинают года в три.

– Эта вот у тебя не слишком азартна, – поддел его Жека.

– Так ей год всего! – загорячился псарь. – Есть у меня одна. Тринадцатый год пошёл. Уже глухая, а лису всё равно не отпустит. Или занорует, или возьмёт. И охота была здесь знатная. Лиса, куница, кабаны, лоси. Теперь ни зверья, ни собак настоящих. Мои последние.

– Не переживай, Костя, – утешил его Лаврентьев. – Заведёшь русских гончих и этих… помнишь, говорил – узловок.

– А-а… Всё не то. Помещики разводили – это да. Собачки так и звались – по их имениям.

– Значит, и Соколов из таких селекционеров? – спросил Рев.

– Спрашиваешь! – оживился абориген Костя. – Я про него и начал, но по твоему поводу, моряк. Год назад появился здесь один дядя. Сначала всё о собаках говорил, а выяснилось под конец, когда мы выпили, что он с помещиком одного помёту. Пра-правнук, что ли. Корни свои искал. В архи-

вах докопался, теперь, не разглашая шибко, решил у наших стариков поспрошать. А где у нас старики, что при царском режиме жили? Всех извели на корню. Вот и ты, моряк, в архивах поройся. Может, отыщешь своего кавалера или какие следы, ежели, конечно, не боишься подмочить дворянством биографию.

– Я ему ещё в море о том же говорил, то же самое советовал, – проворчал Жека. – Время, конечно, упущено. И где местный архив? Церковь разграбили, а приходские книги давно сожжены. Скоро и за могилы примутся. Ты, Рев, сфотографируй свою, чиновника, пока архаровцы не уволокли надгробие. И всё-таки поройся в районных и областных бумагах.

– Бумаги, коли они есть, никуда не уйдут, – заявил Филя. – Щас бы бутылочку раздавить, а магазин, верно, закрыт? – обратился он к Жеке.

– Филипп Филиппыч, если очень хочется, то у меня в портфеле имеются две, – сказал я, – Самое время изладить и шашлыки.

– О, Мишка, сразу видно, что и ты был боцманом! – возрадовался Филя, сладострастно потирая руки. – Пить так пить – до хохота в желудке, до потери пульса и штанов!

Костёр разожгли за дорогой, угли сгребли в самодельный мангал, мясо нанизали на шампуры из проволоки и занялись трёпом, злоупотребляя по маленькой. Я спросил у Жеки, как у него обстоит с заработком.

– Когда как, – ответил он. – Однажды меня пробовали прижать. Было собрание. Слово взял директор мастерских и говорит: «Иду я, товарищи, по городу, а навстречу – Лаврентьев. И та-ааа-акой пьяный, что я его не узнал!» А я, значит, ему в ответ: «А я вас сразу узнал». Хохот, конечно, а он – в бутылку, ну и начал, было, отлучать от кормушки, да поостыл и снова стал подкармливать манной кашей. Вот наш графуля правильно сделал, что не стал связываться ни с Союзом, ни с Худфондом. Лепит свои диафильмы и в ус не дует.

– Так спокойнее жить, – улыбнулся Хва́ля, принимая шашлык и стопарь. – Я, Жека, когда в училище учился, в театре подрабатывал. Статистом, конечно, но и в хоре петь за трояк доводилось. Давали мы однажды какой-то революционный спектакль Я – в толпе матросов, солдат и прочих большевиков. Ревём, естественно, «Интернационал» вместе с Владимиром Ильичом. Его Смирнов играл. Поём, значит, и вдруг сверху падает и накрывает хор громадная холстина, а мы всё равно поём. Спели. Холст подняли и… несут матросики окровавленного Ильича: ему по башке попало толстенной деревяхой, что поддерживала холст. Она и вырубила вождя, шарахнув по темечку.

– Хорошо, что не на смерть! – живо отреагировал Жека. – Если б прихлопнула мою и многих кормушку, мы бы сейчас не жевали шашлыки пополам с водочкой.

– Так ведь зарабатывают и по-другому, – заметил Хваля. –

Ты, Жека, своди Михаила на Малую Грузинскую. Пусть посмотрит наших доморощенных авангардистов.

– Ну их к чёрту… Насмотрелись в «Галери ла Гавана» – до сих пор тошнит от этой зауми, – отмахнулся я.

– Там что! Ну, висит посреди подрамника сплюснутая крышка от большой консервы. С четырёх сторон проволокой прикручена, – пояснил Жека для Хва́ли. – А наши малюют с философским подтекстом. Им иностранцы платят за подтекст триста-четыреста рубликов за мазню, они и рады: «Меня в Америку купили!» Я как-то спор затеял, так меня же и обвинили в «умозрительности». А у спорщика ихнего на холсте – Христос распятый. Руки-ноги прикручены к кресту болтами с гайками. Чтобы, значит, не воскрес. Говорю, ребята, похоронят вас скоро, так они в драку полезли. Хорошо, что мы были с Женькой Антоновым. Поостереглись его кулаков. У него же не заржавеет. Как учили в кавалерийской школе? За узду, крепче, ещё крепче и – в морду!

– А как сейчас Антонов? Борька Овчухов? Чем занимаются? – Спросил я, обгрызая куски с шампура.

– Толком не знаю. Мы там и встретились, на Грузинской. Я им, этим, говорю, что с вашим авангардизмом одна надежда на авось: повезёт – не повезёт. А этот, который Христа намалевал, говорит, что ему всегда везёт. Ну, а я ему толкую на ушко: «Смотря как везёт. Один хватает машину лотерейную за тридцать копеек, а другой хватает триппер!» Пуще прежнего взъелись, хай подняли до небес. Мы уши зажали

и – ноги в руки.

И ещё одна ночь минула.

Теперь я пошёл в избу будить команду. Боцман снова спал посреди комнаты в надувном резиновом понтоне.

– Ну и клопы у этого Лаврентьева! – удивлённо изрёк он, зевая и показывая зажатую в кулаке небольшую черепашку.

– Не вздумай раздавить с похмелюги! – засмеялся я. – С тебя, боцман, станется!

– Пожалуй, надо собираться домой, пока «клопы» ещё с чайное блюдце, а не с тазик, – ответил Филя, отправляя черепаху под стол. После завтрака штурман засобирался в Серпухов. Филя Бреус и Хва́ля отправились с ним, но до Москвы. Я тоже примкнул к уезжавшим, пообещав вернуться в Спас-Темню, повидавшись с дядюшками и заглянув в Третьяковку и Пушкинский.

На всё про всё ушло у меня дня три-четыре. У родичей отметился чин по чину, но галерею и музей Пушкинский обошёл вяло. Можно сказать, только посетил, чтобы потоптаться возле Врубеля. Не шли из головы «Меридиан» и капитан Минин. Закрою глаза – катятся вдаль океанские волны, кланяются им мачты, одетые в напруженную парусину, курсачи окатывают горячую палубу, оттирают её песком и кирпичами, и сам я, босой, шагаю между них, загребаю пальцами сырой песок и гладит мою спину тёплый африканский ветер.

Письмо Юрию Ивановичу написал здесь же, в Спас-Темне. Отправил с Вечесловом. Ревтрибунал неожиданно вер-

нулся, чтобы поделиться своими успехами в розысках и «по-настоящему» проститься. Ему повезло в архивах. Напал на след возможных предков и проследил их вплоть до девятисотого года.

– Большего не успел, – сказал он. – Я и без того исчерпал лимит времени, а мне ещё в Загорск надо заглянуть. Проверить решимость Фили и успокоить Аврору Фрицевну.

– А что случилось? – спросил я.

– Я разве не говорил? Контора получила новейший тралец «Свердловск» класса «супер». Он уже на подходе, а я его будущий старпом. Вот и уговорил Филю пойти боцманом, а его докторша – на дыбы: только через мой хладный труп! Всё же уломали её. Один рейс муженёк оттрубит и вернётся в школу к обязанностям завхоза.

– То-то, смотрю, что Филя какой-то не такой! – засмеялся я. – Смурной, задумчивый и обидчивый по пустякам. Хотя его можно понять. Я бы и сам сейчас хотя бы на рейс в море смотался. А всё ты, господин штурман, – смутил душу!

– Смутить смущённого не трудно. Раз, два и… уноси готовенького.

– Тебе хорошо рассуждать. Всё ещё не женат?

– Пока Бог миловал, – улыбнулся Рев. – Но сколько нас таких? Возьми ТОТ рейс. Ты был женатиком, Евгений Палыч тоже. Нет, Миша, дело не в этом. Море – это судьба.

Уже после того как Вечеслов окончательно покинул нас, Жека спросил:

– Неужели тебя снова тянет на хляби?

Я лишь плечами пожал.

– Та-ак, ясно… у матросов нет вопросов.

– Зато у меня есть. Как поживает твой «Пушкин»?

– Не шибко «Браво», а если на самом деле, то вообще хреново, – доложил Жека. – Ты Славку Никиреева помнишь?

– Мутновато, – признался я. – Он же график. На Трифоновке в соседней комнате обитал. Как-то хотел у него трояк перехватить, а он в это время пёрышком портреты для энциклопедии оттачивал. Трёшницы не дал. Сижу, говорит, без гроша. Тем и кончилось знакомство.

– Терпенье и труд всё перетрут! Наш выпуск вообще был самым бездарным, а Никиреев в членкоры выбился. Забелин… ну этого, надеюсь, помнишь?

– Тоже мутно. Вроде Новый год встречали вместе в новой общаге. Он тогда с Васькой Осиповым подрался. Факт помню, а личико испарилось.

– Совсем отстал от жизни! С тех пор много воды утекло в твой океан. Когда-то дрался, а теперь «заслуженного» получил. Правда, непонятно за что. Мелькал на выставках с такими вот этюдиками, – Жека развёл ладони, между которыми поместилась бы крупная сайда, – но кроме красивости да приятности в них ничего не заложено. А хуже всего, что он попал в комиссию по премиям, и будет давить таких, как Костя Чаругин.

– Я Костю встретил у метро. Он к тебе заходил, но… И что

Костя?

– Знаешь, Костя безусловно талантлив. В институте както не показался, а сейчас! – Жека засмеялся. – Показывал «Портрет козла». Ну, скажи, куда он с ним в наше время? Сейчас же и забодали. А знатоки говорят, что здорово написан. И пейзажи Костины лучше Забелинских.

– Ты про Никиреева начал, – напомнил я.

– Славка не только «Пушкина» утопил, он и мою «Легенду о взятии Царьграда» пустил ко дну. Главное, я так и не понял его аргументов, а значит, чего он добивался от меня?

– Козни и происки, Евгений Палыч, не по нашей части, потому и знать тебе не положено мыслей корифеев и всех тонкостей подковёрной возни.

– И то верно. Сейчас дали картинку с Лениным. Надо бы склеить её до конца, а я сюда подался. Размер небольшой, но платят хорошо. Вообще, у меня вождь мирового пролетариата уже в печёнках сидит, – пожаловался Жека. – Иногда самому хочется огреть его по черепу хорошей дубиной. А то дали нам троим по три его же портрета. Весь март-апрель бился над ними. Там не только сходство нужно. Нас ведь трое. Надо чтобы и почерк был одинаковым. Совсем замудохался с Владимиром Ильичом. Ты-то как? Чем зарабатываешь на кусок с маслом?

– Я, Жека, оформитель. Мне вожди до фени. Моё дело – планшеты и плакаты: наглядная агитация, словом. Я ведь как до тебя прокатился? Дали мне кабинет географии в одной

ремеслухе. Каждый планшет – план одной из столиц буржуйского забугорья. Я к ним пейзажик добавил, самый характерный для каждого города. Приняли по высшей категории, и вот я здесь.

Жека вынес для вороны Машки рыбью требуху, – время приспело обедать.

Он подал мне деревянную ложку.

– Губ не обожжёшь, Миша, – пояснил он. – В армии пока дуешь на железную – полкотелка уже нет. Я там всегда деревянной хлебал, зато и сыт был, – он засмеялся, – пока солдатики не смекнули и тоже не обзавелись деревяшками.

– Сильна в людях привычка…

– О том и говорю. Вот ты, если не секрет, о чём написал своему капитану? Небось, как Ванька Жуков, пустил слезу: забери меня к себе, Христа ради!

– Нет, Жека… – Я облизал ложку и положил рядом с тарелкой. – Письмо – разведка боем. Пустил слезу и попросил написать об отряде, да с кем видится из наших. А сейчас я, наверное, ещё и Клопову черкну. Надо узнать, с чего он психует. Листок найдётся?

– Бумагу я тебе дам, а перо сам у петуха соседского из задницы вырви, чтобы на Пушкина походить, – посоветовал он.

– Я тебе не Клопов, чтобы «экспромты» клепать. Для цидулки моей и авторучка сгодится. Когда-нибудь привезу к тебе Клопова, тогда петухи и гусаки пусть поберегут свои хвосты, – ответил другу, принимаясь за письмо.

Я нисколько не сомневаюсь, что у меня есть душа, и все книги, которыми материалисты наводнили мир, не убедят меня в противном.
Лоренс Стерн

Письмо от Минина пришло через неделю после моего возвращения на Урал.

«Привет из Риги! Михаил Иванович, здравствуй! – писал капитан. – Письмо твоё получил, благодарю за него. Немного о себе. Сейчас я на «Менделееве» капитаном. В прошлом году ходили в Росток, ГДР, на 15 суток. В этом никуда не идём. Кажется, попаду на «Крузенштерн». Он сейчас на ремонте на Кронштадтском морзаводе. На днях видел Рихарда Сергеева. Он уже на нём. Говорит, что работы идут полным ходом. Как всё сложится, пока не знаю, но рейс намечают в Нью-Йорк по приглашению парусной ассоциации. Знаю, что капитаном назначен Николай Тимофеевич Шульга. Он якобы в недавнем прошлом китобой, а какой он парусник – неведомо. На переоборудование барка отпущено 3,5 млн. руб., что и много, и мало. А что до нашего отряда, то он пополнился двумя единицами. Это транспортно-учебное судно «Николай Зыцарь» (первый рейс в Антарктику, к китобазе «Юрий Долгорукий» с четырьмя заходами в инпорты). Посудина солидная – 8 тыс. т. и на 100 курсантов. И ещё получили промыслово-учебное судно «Эхолот» – БМРТ-супер.

Теперь о «Тропике». В июле месяце и он, как наш «Мери-

диан», будет переоборудован в ресторан. Та же участь ждёт и «Менделеев». «Кустанай» и «Курган» уже списаны по старости, но их – на кладбище. Кстати, новым плавресторанам, думаю, понадобятся картины на мор. тему. Мой хороший знакомый КДП Володя Евстигнеев руководит ремонтом «Тропика». Я с ним уже говорил о картинах после твоего письма. Когда что-то прояснится, сообщу. Если сможешь приехать в командировку, сам посмотришь, как лучше (размер и т.д.) и будет непосредственная возможность договориться обо всём. Предполагается, что баркентина будет рестораном «в старом стиле». Картины ему будут нужны. М.п., Вечеслов рассказал о ваших мытарствах на «Козероге», и я рад, что вы встретились в Москве. Может, и нам с тобой удастся свидеться. Ну, всё. Пиши. Жду. Привет семье. Юра».

Юра! Тогда бы уж и меня Мишей именовал, ведь на год моложе. Я всегда помнил о субординации. Помнил, что он капитан, а я боцман (ныне – с приставкой «экс») и не мог переступить через табель о рангах.

Грело, что Минин ответил быстро и как-то в чём-то предложил свои услуги. Услуги – да, но… к чёрту картины! Коли опошлили парусник кислой капустой, рук не приложу к украшательству кабака. Зато «Крузенштерн»!..

Видением всплыла первая встреча с барком в далёком пятидесятом. Он стоял в Неве у моста Лейтенанта Шмидта. Я почти каждый день околачивался возле него. Это был первый не книжный, а настоящий парусник, увиденный мной,

и было в нём какое-то колдовство. Он буквально завораживал паутиной снастей, окутавших высокие мачты, такие высокие, что они, казалось, упирались в облака, нависшие над Питером. В ту пору я даже не мечтал попасть на его палубу: матрос с автоматом, стоявший у трапа, был неодолимой преградой для робкого провинциала в шинели ремесленника. Тогда и сейчас… А если сейчас получится?

Не мог я не поделиться с друзьями намерениями своими и планами. Терёхин отмахнулся: это меня не касается! Аркаша загорелся: если появится лазейка, я тоже хочу пролезть в неё! И сообщил, что как-то приехал в Ригу с Галиной. Окна гостиницы выходили на Даугаву; увидев однажды мачты парусника, решил, что это всенепременно «Меридиан», а значит и Мишка на нём. Встречу отложили до утра, «а наутро чайкой бирюзовой реял в море белокрылый бриг». Встреча не состоялась. К тому же у понтонного моста могла стоять любая баркентина. В ту пору ещё и «Сириус», первый из пострадавших, не превратился в кабак «Кронверк». Но, видно, стройные мачты парусника запали в душу. Теперь Аркаша ходил за мной по пятам и просил не забывать о нём, если возможность попасть на барк станет реальной.

Началась оживлённая переписка с Юрием Иванычем и, кажется, клюнуло. Командир Балтийского отряда учебных судов Беляк «пообещал сделать всё возможное». Разумеется, не за так. Павел Тимофеевич прозрачно намекнул, что

мы должны что-нибудь накрасить для начальника «Запрыбы» Шинкарёва, для управляющего Рижской базы рефрижераторного флота Белокурова (на балансе РБРФ «висел» учебный отряд), конечно же, для самого Беляка и для неведомого нам товарища Серова, почему-то не обозначенного в табели о рангах, но очевидно тоже крупной шишки. Мы были готовы на что угодно, лишь бы попасть в такой заманчивый рейс на «Крузенштерне».

А вот от Коли Клопова – ни ответа, ни привета. Я начал думать, что письмо не дошло. И вдруг – ответ-привет, но в нём – ни здравствуй, ни прощай. Только короткий «экспромт», начертанный сбивчиво-торопливым почерком:

А день сегодня серенький,
Как сношенный кирзач.
В грязи застрял как миленький
Расхристанный тягач.
Гляжу на спину в ватнике,
Что роется в движке…
Ну, жисть твою, ну, мать твою!
И он, и я – в дерьме!

Ну, Коля! Ну, погоди! Что с подлинным скверно, это ясно. Но никогда не поверю, что Клопов подался в колхоз или МТС! Однако пессимизм проглядывал махровый. Я быстренько настрочил ответное послание, в котором попросил объяснений. Ответ не заставил ждать себя, но и Клопов был

верен себе:

«Остановка первого вагона», —
Брякает жестянка на столбе.
В первом не поеду, он купейный.
Моё место – в общем, тот – в хвосте…

На сей раз Клопов меня обозлил. «Во первых строкáх свово письма» сначала обругал виршеплёта, а во вторых посоветовал разыскать старпома нового супера «Свердловск» Рева Фёдоровича Вечеслова и, как старого знакомого, попросить его о трудоустройстве в качестве надёжного мотыля. «И нечего хлюпать носом! – посоветовал на прощанье.

А тут наконец и Минин прислал последнее письмо.

«Михаил Иванович, здравствуй! Пишу коротко, так как я уже в Кронштадте. На барке я в должности старпома. Скоро выходим с ремонта. Сам знаешь, сколько в это время работы! А тут ещё на носу регистр СССР. Ждём IV курс из Риги для оснастки и покраски. Бумаги на загранвизу вы должны получить у себя. Наши райком и ЦК не возьмут на себя ответственность за чужаков. Возьмите в своём Союзе художников отношение и всё остальное (анкеты, автобиографии, характеристики) и – в обком. Если получите допуск, пусть высылают пакет на I отдел РБРФ. Рейс – в июне. Нью-Йорк заменили походом на Чёрное море, в Севастополь и др. порты. Спрашиваешь, как в штат? Этот вопрос труднее, но Беляк обещал постараться, если и вы постараетесь. Понял? Прие-

дете, там будет видно. Кстати, „Тропика“ больше нет. Сгорел в речке Лиелупе на Взморье. То ли поджог, то ли… Ладно, гадать не буду. Пиши. С приветом и уважением. Минин».

Маховик закрутился, а душа – то плакала, то пела.

Кто не занимался в те годы оформлением «допуска», тот не поймёт кипения страстей, нетерпеливого ожидания, когда сердце уходило в пятки и всплывало на гребне надежды, ибо если пути господни неисповедимы, то ещё более непредсказуемы пути обкома КПСС.

Надежды не обманули. Однако обком не раскошелился на пересылку, а вручил нам пакеты на руки. Свой я отправил «ценной бандеролью», Аркадий решил вручить его лично. А стартовали раздельно. Я первым устремился в столицу, чтобы друзей навестить и себя показать, но главным образом из-за киноплёнки для «Веги»: в нашем городе её тогда почему-то не оказалось.

Часть вторая.
По местам стоять, с якоря сниматься!

Но мы постараемся перевесть все ощущения героя нашего и представить читателю хотя бы только сущность этих ощущений, так сказать то, что было в них самое необходимое и правдоподобное. Потому что ведь многие из ощущений наших, в переводе на обыкновенный язык, покажутся совершенно неправдоподобными. Вот почему они никогда на свет не являются, а у всякого есть.
Фёдор Достоевский

«Крузенштерн» и Аркадий были ровесниками. Оба появились на свет в 1926 году. В ту пору, правда, барк назывался «Падуя», а Охлупин всегда оставался Охлупиным. Просто у кораблей своя судьба, отличная от человеческой, и чтобы стать «Крузенштерном», барку пришлось спустить германский флаг и поднять советский. Тем не менее он остался последним в стае знаменитых когда-то «летающих П». Так прозвали серию громадных стальных барков, названия которых начинались только с этой буквы. Сейчас «Крузенштерн» стоял в Вецмилгрависе.

Я не сразу поднялся на борт. Смотрел с причала на мачты

почти так же, как смотрел когда-то в Питере, наслаждаясь и млея. Вид у меня был при этом, похоже, достаточно глупый, потому что Винцевич, подошедший тихо и незаметно, ехидно пропел чуть ли не в ухо: «Вышел Мишка на крыльцо почесать своё яйцо, сунул руку – нет яйца – мать моя, Владычица!»

Десять минут назад я встретил на проходной Петю Груцу, спешившего к себе на «Зыцарь», а теперь и Ранкайтис вдруг объявился! Так может я и не расставался с морями и парусами?! Перед отъездом в Ригу Терёхин предупредил: «Держи ухо востро: окунёшься в прошлое – засосёт!» Уже засосало! Стоило «оттолкнуться ногой от Урала», и время словно бы повернуло вспять и остановилось, чтобы предъявить права на меня, как на принадлежность пространства, именуемого палубой парусного судна, которое обладает особым магнетизмом для всякого, кто однажды рвал жилы на шкотах, брасах и фалах, кто пулей взлетал по вантам на салинг и приветствовал взмахом руки знакомых чаек, хоть на Балтике, хоть у берегов Гвинеи. Винцевич тоже приветствовал их с палубы «Меридиана», ставшего сейчас для него «Meridianas-ом», но именно старый магнетизм привёл его сюда.

– Из Клайпеды? – спросил я.

– А ты – с Урала? – спросил он.

– Оттель, – ответил я. – Решил вот прошвырнуться с Мининым по белу свету.

– А я приехал повидаться с ним, – ответил он.

– Так пошли, мне тоже к нему.

Мой визит не затянулся. Старпом подивился, что оба мы ничуть не изменились, в то время как Фокич, которого он встретил на днях, разбух, как на дрожжах. Спросил, где же мой «второй номер», а когда я сказал, что Охлупин может появиться уже сегодня, посоветовал как можно скорее разделаться с отделом кадров и медкомиссией.

– Твой друг, Михаил, и ты записаны в судовой роли как матросы-инструкторы второго класса. И прими ещё один маленький совет. Рич Сергеев – главный боцман барка. Держись с ним как можно дипломатичнее. Сдавая ему «Меридиан», ты, помнится, учил его уму-разуму. Он мужчина самолюбивый, а теперь ты попадаешь под его начало, так что мало ли… Кстати, подчиняться, как художники, будете первому помощнику Антону Владиславовичу Рудушу. С ним дипломатии не надо, но всё-таки капризы помполита советую выполнять.

Я взглянул на часы.

– Побегу в кадры, – сказал, поднимаясь со стула. – Пожалуй, ещё успею в первый отдел. Узнаю, пришли ли мои бумаги.

– Беги, – кивнул старпом. – Делу время, а на потеху у тебя будет аж два дня: суббота и воскресенье. Сегодня переночуешь в каюте Рича (его нет на борту), а приедет Охлупин, определим вас на постоянное место жительства.

В кадрах пришлось написать заявление о приёме на рабо-

ту и получить санитарный паспорт моряка, но в первом отделе я узнал, что пакет с Урала пока ещё не получен. Скорее всего, это произойдёт в понедельник. Я отправился на барк, но – бывает же! – увидел на палубе зачуханного тральца ещё одну тень прошлого: Майгона Метерса, некогда учившего и меня парусному уму-разуму на «Меридиане». Майгон сдавал вахту и собирал рюкзак. Он с ходу предложил отправиться с ним на выходные в Огре, где у родственников гостит его Лайма с сыном и где найдётся местечко и мне.

– Как ты оказался на этой лайбе, Майгон? – спросил я в автобусе. – Ты же собирался в пароходство проникнуть.

– Брат отсоветовал. Я же дальтоник, но мореходку я закончил рыбацкую и оказался в тралфлоте, где меньше риска нарваться на неприятности.

– И ничего? Не путаешь ходовые огни?

– Пока без происшествий. Главное знать, где зелёный, где красный, ну а топовый или гакабортный всегда белый.

– А медсанчасть не препятствует?

– Тебя хоть раз проверяли на цвет?

– Я – низший чин, а ты всё-таки штурман, судоводитель.

– Медики тоже люди, и если знаешь подход…

– Понял, – ответил я и больше не расспрашивал.

Огре – тихий зелёный городок. Под хмельком приемлемой концентрации мы бродили по городу, даже посидели с удочкой на речке, а в понедельник я снова постучал в дверь хранителей государственных тайн, обитую железом, но от-

вет был прежним: пакета ещё нет. Зато я получил совет съездить на рижский почтамт, где и навести справки. Мол, ценная бандероль – это не копеечная открытка. Потеряться она просто не могла.

Почтовики проявили рвение, но бандероль не нашли, хотя обнаружили подтверждение, что пакет пришёл своевременно и так же своевременно отправлен по назначению. Меня уже трясла нервная лихоманка. Снова на такси я помчался назад, готовый биться лбом в железную дверь до выяснения обстоятельств пропажи. Увы, меня снова отфутболили в Ригу, где я услышал: «Утеря ценного отправления почти невозможна, а если оно адресовано на первый отдел, то это вообще немыслимо!»

Значит, мыслимо! Голова уже шла кругом. Я даже запаниковал, решив что всё пропало, однако тут же лёг на обратный курс и снова предстал перед секретной службой, вопия в душе: «Я волком бы выгрыз бюрократизм!» Да и как не вопить?! Мне посоветовали заглянуть завтра. Мол, утро вечера мудренée, а в течение дня всё может измениться в лучшую сторону.

Я поплёлся на барк, и первым, кого повстречал, был Аркадий Петрович Охлупин, намеревавшийся сойти на берег и посетить только что мной покинутую службу отдела кадров.

Встреча началась не с объятий, а с упрёка: почему-де не встретил?! Я понимал, что человеку несведущему, не так-

то просто сориентироваться в расположении здешних гаваней и причалов и попасть в нужное место, и тем не менее…

– Да почём я знал, когда ты приедешь?! – взвыл я, удручённый своими неприятностями.

– Ладно, это я в порядке профилактики, – усмехнулся матрос-инструктор второго класса. – Ты уже оформил бумаги?

– Заявление написал, санпаспорт получил, а дальше? Как оформить то, чего не имеешь? Почта говорит, что пакет пришёл, а у секретчиков его нет. Велели прийти завтра утром.

– Всё своё носи с собой, вернее будет. Бери пример со старших, Миша! – и, помахав пакетом перед моим носом, Аркаша направился к трапу, в то время как я, ещё не решивший, куда направить свои стопы, оказался лицом к лицу с главным боцманом.

В общем, Рич встретил нормально. Без восторгов, но почти благожелательно. Разве что улыбка была с кислинкой. Ну и что? Изюминки я не ждал, помня свои матюги (к счастью, редкие) в его адрес, когда спускали реи и стеньги на «Меридиане», после перехода из Риги в Светлый. Ладно, то дело прошлое. Как говорил Чапай, наплевать и забыть. Тем более, Рич тоже поинтересовался тем же, что и Аркаша, а я в этот раз просто сослался на почту: улита едет, когда-то будет. Рич меня успокоил – найдутся!

– Твой друг нынче у меня ночевал, но я уже подыскал вам каюту. Будете жить с плотником и старшим рулевым. Пошли, Мишка!

Пошли. Железная коробка без иллюминаторов, а значит без дневного света, находилась под верхней палубой правого борта. Крутой трап вёл в коридор, из которого можно было попасть к люку парусной кладовой, а также в другой коридор, где находилось несколько кают штатного экипажа. Вещи Аркадия лежали на нижней койке слева от входа. Мне досталась верхняя справа, мигом сориентировался я, так как в оставшихся койках возлежали аборигены. Под моей койкой жительствовал старший рулевой Валерий Изморский, с есенинской шевелюрой, другую, над Аркашиной, придавил плотник Жора Буйначенко – судя по длине носа, второе, дополненное, издание пана Казимира, то бишь Гришки Кокошинского.

– Принимайте нового постояльца: матрос Гараев, – отрекомендовал меня Рич, когда представил сожителей. – По совместительству художник. А может, художник, а по совместительству матрос. Как, Михаил, считаешь?

– Буду совмещать одно с другим.

– Ладно, совмещай, – вздохнул он. – Ты уже расписан на второй грот-мачте у боцмана Виктора Майорова. Да, вещички свои забери из моей каюты, а то ни пройти, ни проехать.

Компания в каюте, кажись, подходящая, подумал я, возвращаясь нагруженным, как верблюд. Этюдник, чемодан, коробка с красками и плоский ящик в размер ватманского листа, набитый бумагой, – всё это было брошено на койку.

Разобрать и уложить не успел: с трапа в каюту скатился Аркадий.

– Нашёлся твой пакет! Пошли фотографироваться на паспорт моряка.

Когда вернулись, плотник и рулевой находились в той же позиции. Первый изучал подволок каюты, второй смотрел в книжку. Когда мы начали распихивать пожитки в подкоечные рундуки и в единственный шкаф «на всех», стоявший у двери, Жора прервал своё бесперспективное занятие и, обращаясь к нам, лягнул рулевого интеллектуальным копытом:

– Молчун! Почему, думаете? А всё потому, что читает книгу, видит фигу. Почему, думаете? А потому, что день и ночь думает, как будет крутить своё колесо. Видели наш штурвал? Сдвоенный! Два колеса в рост Гулливера, а он – лилипут по сравнению с ними. У него вся сила в кудри ушла, но толку от них в морском деле никакого.

– Трепло! – лениво бросил «молчун». – Однажды вытащу из твоей пасти длинный язык, положу на кнехт и твоим же молотком превращу в отбивную.

И началось: «А я тебе!..» «А ты мне!..» Теперь я окончательно понял, что вернулся в родную, «до боли знакомую», стихию трёпа и подначек.

Меняя круг интересов и, так сказать, круто перекладывая руль на другой галс, иногда со скрипом и всякими издержками, мы всё-таки приспосабливаемся в конце концов к новому ритму жизни. Однако сокровенное наше лишь затаивает-

ся на время, чтобы не мешать адаптации. «Случись же, пусть и ненадолго, вернуться на прежние круги своя, и мигом рвётся ниточка, которая связывала с кажется уже устоявшимся новообразованным бытом: тут же срастается обрезанная пуповина и следует возвращение в то самое лоно, будто бы навсегда покинутое в силу тех или иных обстоятельств», – думал я в первые дни на барке.

Полтора года, прожитые без моря, дались сравнительно легко. Рядом были мои родители и брат, родители подруги и её братья, подруга и сынишка тоже были при мне, вокруг – масса знакомых по прежним годам и летам, рядом – все. А если вспоминаешь старое, то нынешнее принимаешь к сведению, чтобы, угомонившись, приноровиться к стечению обстоятельств, которые, ежели приглядеться, довольно скучны. Не то репа пареная, не то редька с хреном. Смотря по тем же обстоятельствам. В любом случае, не малина, а мякина, кабы не встреча с Ревом и Филей, и, как результат, толчок, а за ним – «Крузенштерн». А здесь любая мелочь лишний раз подтвердит, что ты вернулся к себе, туда, куда стремился в снах и помыслах. Правда, вскоре я думал уже иначе. Привычный мир палубы был теперь не совсем моим, хотя присутствие где-то поблизости Рича, Юрия Иваныча и Лео Островского, как бы напоминало о нашем общем прошлом. Они продолжали его непрерывность, я же его оборвал и теперь обе половины не желали соединиться. Былые соплаватели находились на ТОЙ половине, на ЭТОЙ оставались я

и Аркаша, в общем, случайные попутчики этих мореходов. Аркаша, впрочем, как-то быстро обжился в каюте, на палубе и за обеденным общим столом. Когда мы хлебали варево из алюминиевых мисок или наворачивали из них же липкие макароны по-флотски, Аркаша по-свойски шутил с соседями, подавал реплики и на другие концы длинного стола, я же в это время думал об Эдьке Давыдове, который эти вот жирные макароны предпочитал всякой другой жратве, но более всего, будучи на берегу, любил сам их готовить и, бывало, запросто наворачивал целую сковородку с горкой высотой в Монблан или Пик Коммунизма.

Через день после того, как мы с Аркашей стали полноправными членами экипажа, меня разыскал боцман Майоров и пригласил «поработать для Родины». Сначала распутывали закрученные снасти, потом Виктор решил основать новые брасы верхнего грота-марса-рея. Смотав нужные метры со свежей бухты сизали, растащив их по палубе и расправив колышки, начали мы пропускать трос через блоки. Видимо, они-то, блоки, и надоумили дракона устроить мне небольшой экзамен. Думаю теперь, что Базецкий или сам главдракон рассказали ему о «Меридиане», и Майоров решил проверить меня на вшивость.

– Скажи, художник, как называется тот блочок для флага-фала, что болтается под гафелем? – спросил Виктор.

Вопрос застал врасплох, и я задрал голову.

– Дай подумать… А, канарей-блок, – ответил небрежно

и радуясь, что не пришлось долго морщить лоб в поисках ответа.

– Ну и ну! – почесал свой загривок дракон. – Теперь вижу, что ты, Михаил, кажись, действительно мариман. А то кого ни спросишь, никто не знает. Караси, что с них возьмёшь!

А пока лилось вино, состояние духа у нашей компании всё более приближалось к полной сердечности и раскованности.
Герман Мелвилл

После ужина я забрался на койку и открыл «Путешествие на Кон-Тики» – адаптированное издание на английском. Очередная вспышка жажды познания произошла ещё на Урале, вот и взял в поход десятка полтора таких учебных пособий для старших классов средней школы. Аркаша тоже занялся чтением, открыв «Танкер „Дербент“», но в этот вечер нам было уготовано занятие другого толка.

Мы не успели осилить ещё и страницы, как судовая трансляция откашлялась и голосом Леопольда Островского предложила Гараеву и Охлупину зайти в каюту начальника радиостанции.

Что бы это значило, подумал я, сползая с насеста. Радиостанция в порту не работает, значит, вряд ли нам вручат послание от родных и друзей, однако приглашение было высказано таким приказным тоном, что Аркаша вытянулся на койке по стойке «смирно» – пятки вместе, носки врозь – и отдал

честь репродуктору.

Мы сразу договорились не выпячиваться, не лезть на глаза начальству. И никаких инициатив с нашей стороны. Да, будем делать, что прикажут боцмана и первый помощник капитана. А тот уже попросил изобразить карту для столовой, чтобы отмечать в ближайшем будущем ежедневное местонахождение барка на маршруте. Сказано – сделано. Рудуш в восторге? Вери гуд. Ввёл в редколлегию? Нот гуд. Но тут уж ничего не попишешь. Словом, никаких самовольных контактов. Минина в эти первые дни я видел всего несколько раз. Мельком на палубе. Тоже и Леопольда. «Что ж, приходит время, и кто-то кому-то становится нужен, а коли так – вперёд, заре навстречу!» – решил я, пропуская Аркашу в каюту начрадио, где сразу узрел старпома и накрытый для пиршества стол, увенчанный пузатым графином со спиртом. Чёрт возьми, даже стаканы были наполнены (наполовину) веселящей жидкостью и ждали нас возле вилок, ломтей хлеба и вскрытых консервов.

Кроме Минина и самого Островского, присутствовал второй радист по имени Слава. Он сразу спросил, помню ли я его, ведь мы знакомы. Я не помнил, но познакомиться мог только в Светлом, на СРЗ, когда сдавал Ричу боцманское хозяйство на «Меридиане». В тогдашней суете, когда новые люди приходили один за другим, а порой и уходили в том же порядке, радиста память просто не удержала в сером веществе.

– Давайте поднимем за баркентины, за «Тропик» и «Меридиан», – Юрий Иваныч поднял свою посудину. – Их уже нет, нас всех разбросало по сторонам, но если жизнь снова свела четверых из тогдашних экипажей на одной палубе, да ещё опять под парусами, значит, есть в нашей встрече какой-то смысл.

– И смысл в жизни, – добавил я, чокаясь с ним и с остальными.

– Рихард тебя не прижимает? – спросил Юрий Иваныч, когда все выпили и почавкали.

– Пока милует, – ответил я, сразу расслабленный потоком огненной лавы, прокатившейся от гортани до желудка и провалившейся дальше, вплоть до ануса. – Даже мой личный боцман Майоров призывает на службу лишь в крайнем случае. В основном, по пустякам: принести-унести.

– Я этого рыжего обязательно напишу, – пообещал Аркаша. – Интересный тип! Сражались с ним в домино бок о бок. Он спросил, какая холера, дядя, тебя в море погнала? Ответил «племяннику», что я по натуре бродяга и рассказал, как бродяжили с Михаилом на Каме и по Алтаю. Он както странно посмотрел на меня и говорит: «Кончай травить – мотай на утку!» Не поверил, что ли? Я ведь сказок не рассказывал.

– Может, и не поверил, – усмехнулся Лео, наливая новые порции. —Виктор уже лет шесть-семь как не видел ничего, кроме моря-океана да заводского причала. После дем-

беля остался на барке, а он после рейса вернётся в Кронштадт на переоборудование. Вот тогда, думаю, Майоров рванёт с него искать свою «сказку».

– Юрий Иваныч, – обратился я к старпому. – Год назад я тоже побывал в Кронштадте. Саня Ушаков преподаёт дизеля в школе подплава. Сделал мне пропуск, я, конечно, явился, и мы устроили вечер воспоминаний.

– Ему, поди, пора демобилизоваться?

– В прошлом году. Была открытка из Каргополя. Собирается в Морагентство. По стопам Стаса Варнело. Расспрашивал, вспоминал «Меридиан» и вздыхал.

– Так ведь было что вспомнить! – засмеялся Юрий Иваныч. – Хотя бы английский шоколад, которым он, сластёна, обожрался до того, что угодил в больницу.

Минин не засиделся. Ушёл, сославшись на дела. Ну, а мы только-только вошли во вкус и начали добавлять ещё и ещё. Лео, как и все, слегка поплыл, завспоминал разные разности. Не прежние дни парусные, не парусиновые прежние, которых не стоило вспоминать в преддверии тех, что наступят завтра. Не то вспоминают, что было тогда и тогда, а то, что происходило в промежутках между тем и этим. Ту же Ригу хотя бы, и то, что случилось в «Риге», на тайной квартире Винцевича и Лео, когда обмывали мою покупку – пальто демисезонное за 90 рублёв – водочкой «Дзинтарс» и копчёными миногами. Выпивали и закусывали, пока собутыльникам моим не вздумалось вызвонить на свою подпольную

явку кадру для утехи, а вызвонили – Винцевич дал маху! – супружницу Лео. Я этого не знал, но всё равно задал лататы, бежал на баркентину быстрее лани, где и затосковал в каюте: ночь была шибко промозгла, Даугава черна и стыла, а огни по за рекой напоминали о том, что водки ночью не достать; зато в гостиничном нумере остался непочатый бутылец, вот и побрёл я вовзад вдоль понтонного за реку. Вспомнил Лео те наши посиделки, а я признался ему, что провалил их «явку», когда вернулся из-за реки среди ночи и встретил у входа в гостиницу евойную жену с подругой.

– Дамочки меня перехватили в портале, я и решил, что это они – ночные бабочки. Привёл в номер, но ты, к счастью, успел смыться, а Винцевич спал – труп трупом. Пока они тормошили Ранкайтиса, я хватил стопаря и удрал.

– Кадры решают всё, – пробормотал Лео, – а жёны – частности береговой обороны.

Я не был в капитанской каюте. Не довелось. Те комсоставские, в которых побывал, выглядели неуютно. Жилище радистов, с двухярусными койками с одной стороны, столом и диваном – с другой, походило на щель. И, как в нашей мышеловке, ни одного иллюминатора. Словом, вечерний город весь в электросвете. Я отметил это зарубкой в памяти, пока общество ещё находилось, если так можно сказать, в адекватном состоянии. До того ли было потом? До «потом» запомнился лишь вопрос Аркадия не по теме. А спросил он у начальника эфира, увидим ли мы когда-нибудь какой-ни-

будь фильм.

– Кина не будет, кинщик заболел, – ответил Лео.

– Струсил «кептен», – пояснил радист Слава.

– Да, – кивнул Лео. – Не захотел брать на себя ответственность за кинолебёдку и ленты.

– Обычно за них отвечает первый помощник! – удивился я.

– Где-нибудь, но не у нас. У нас Шульга – всему голова.

Дальше всё смешалось. Графин пустел, а «потом» – наступило неадекватное состояние, как в том анекдоте: «Официант, принесите дверь, я хочу выйти!» То ли сами вышли, то ли нас «вышли», в том смысле что унесли нас, спустили по трапу и взгромоздили на койку. И мнилось мне до утра, будто лежу я после рабочего дня и ужина в каморке, предоставленной главврачом «Отрадного», летят за оконным стеклом белые метельные мухи, гудят вершинами сосны – раскачивает их предновогодний балтийский шторм, и тошно мне от плача его и визга, однако же берег и стволы тех сосен, заносимые снегом и орошаемые ледяными брызгами, что успели покрыть сахарной глазурью выпуклые лбы валунов, превращают тошноту в ощущение прибытия на знакомую и чем-то родную посадочную площадку прошлого. А голова раскалывалась. И не только у меня. Аркаша закряхтел немощно и окликнул – я проснулся и понял, что это гудят наши мачты, опутанные тенётами снастей. А барк-то покряхтывает, трётся боками, вздрагивает знобко, будто хочет оторвать-

ся от причала. А может, от верстового столба, чтобы поскорее ринуться к следующему? Но правильно заметил досточтимый Герман, что «всего трезвее и хладнокровнее человек рассуждает по утрам, когда только что проснётся», и хотя «образ действий» кажется ему «всё таким же безупречным… но лишь в теории». Мол, вся загвоздка в том, что из него получится на практике. Воистину так!

– Мишка, давай, за ворота, да по кружечке пивка, ась? – замогильным голосом предложил Аркаша, силясь воздвигнуться над койкой.

– Так с вечера флаг отхода на мачте!.. – загробным голосом простонал я, мигом поддаваясь соблазну.

– До бочки два шага – успеем промочить горло, – заверил он и с неожиданной прытью стал натягивать штаны и башмаки.

…Вернуться успели, когда матросы Гавалса начали поднимать трап. Эх-ма! Рванули, как борзые, взяв старт с места в карьер. Майоров, стоявший за спиной Генки, показал нам кулак и покрутил пальцем у виска, но мы, взбодрённые элем, уже вспорхнули на палубу, как две птахи, добравшиеся до родного гнезда, и поспешили в каюту, дабы улизнуть от помпы Рудуша, тоже шагавшего со спардека к трапу, а его укоры и жалкие наши оправдания в случае, если бы он хорошо принюхался, не вписывались в наши планы. Достаточно того, что рыжий боцман Витька бросил в наши спины: «Гнилая интеллигенция, что с вас взять!».

В олигархическом обществе неимущие ходят иной раз в развалку – особенно когда выпьют, но много чаще, особенно в таких местах, они стоят или сидят в напряжённой позе.
Гилберт Кийт Честертон

Сидение за пишмашинкой «в напряжённой позе» было прервано Подругой.

– Витать в морях за письменным столом, – сказала она, появившись за моей спиной, – занятие похвальное, но, Гараев, иной раз надо и о доме подумать. Ты намерен заняться приватизацией нашего земельного участка?

– М-ммм-м… нам-мерен.

– Когда? Я сделала всё, что могла. Тебе осталось поставить последнюю точку. Если намерен, завтра же поезжай в районную администрацию.

Я понимал её. До сих пор в «такие места» отправлялась она. Куда только ей не пришлось толкнуться! БТИ, такой-сякой земельный комитет, кадастр опять же – всё она. Обмеры, промеры, уточнения участка… Она терпеливо моталась на электричке туда и сюда, и эти поездки не пошли на пользу её нервам. Везде дикие очереди и часы ожидания, большей частью на ногах. Однажды ей нахамил районный архитектор. Даже тридцать седьмой год приплёл ни с того ни с сего! Что он имел в виду? Мы, получается, враги народа, коли хотим приватизировать свою же собственность? Это ж до чего

надо договориться! И ещё вельможа, мандарин китайский, язьви его, орал, что земля нынче денег стоит, и каких денег! Почему? Неужели из-за того, что прежний владелец когда-то ухитрился продать часть участка? Теперешний хозяин этой части имел полноценные документы землевладельца, а нам не подписывали даже договор на аренду. Тёмная вода! И тёмные дела на обломках самовластья старого, а заодно и взбесившегося нового.

Скорее всего, этот микрозодчий, этот хрен моржовый, хотел получить на лапу, но я не имел денежки, а если бы имел, то давать не умел. И противно ведь! И стыдно. За себя стыдно, не за мздоимца. Никогда не мог представить себе психологии человека, который не просто берёт, а требует, вымогает. Или, действительно, стыд глаза не выест?

Однако надо было что-то предпринимать, и я пожаловал к главе посёлка, который не был чужд искусству на уровне народного промысла. Инструмент его – пила, стамеска и лобзик, а потому некоторые здешние избы украшены деревянным кружевом его работы. Встретил как-то на улице и пролил в его жилетку горючую слезу. Мол, свободно искусство, но скована жизнь бесконечным хождением по мукам. Утёр муниципал мои сопли своей шершавой рукой и пообещал найти выход из этой ситуации. Он пообещал, а я ему анекдотом ответил о том, что мы, русские, известны всему миру своим умением находить выход из трудных ситуаций, однако больше всего славимся умением находить вход туда.

– Это многих славных путь, – улыбнулся глава представителю вверенной ему административной единицы и добавил: – Наше дело правое, победа будет за нами!

Я не шибко поверил, но визу нужную неожиданно получил. Точнее, её успела получить ещё Подруга. И вот теперь мне предстояло завершить эпопею «трилогией», которой можно было бы дать название, когда-то услышанное мной от Терёхина: «Жизнь и необыкновенные приключения кильки в томате». Однако, чтобы решиться на этот шаг, мне понадобилась неделя психологической подготовки. Я так прирос к своей Каюте, что без аутотренинга не мог её покинуть. Что мы знаем о психике? Собственной, конечно. Я, например, ничего. Сын привёз сборник рассказов Мелвилла, знакомая дама – такой же томик в мягкой обложке с повестями Конрада. Любимые авторы, а удовольствия – ноль. Буквально заставлял себя осилить пару страниц и в конце концов отложил книжки и включил «ящик», чтобы подогреть нервы каким-либо боевиком, в надежде что беготня, пальба, погони и прочая тряхомудия дадут мне соответствующий импульс, побудят к движению.

Перебираясь с канала на канал, наткнулся неожиданно на передачу о нынешних отшельниках. О людях, которые уходили в леса, довольствуясь шалашом и даже… «одеялом» из снега! Психологи время от времени встревали в сюжет с комментарием, говоря что-то о «самодостаточной психике» этих нелюдимов, которые и в толпе остаются наедине

с собой. Говорили они о геопатогенных зонах в местах тектонических сдвигов земной коры, о чудесах в местах сих разломов, которые странным образом действуют на человека, а мне вспомнился геолог Шацкий (уж не родня ли, хе-хе, нашего Ваньши?) у Паустовского. У того поехала крыша из-за девонского известняка, который якобы аномально действует на живущих в этой местности. И психологи подтверждали это. На этой, мол, почве и случается сдвиг по фазе у людей, предрасположенных ко всякой зауми. А ведь без неё, заполонившей газеты, журналы и некоторые телеканалы средней руки, жизнь нынешнего хомо сапиенса просто немыслима. Сколько же народу свихнулось на мистике, астрологии, гадании на бобах, кофейной гуще, сглазах, заговорах и прочей чуши?! Имя им легион.

После подобных мыслей я уже не смотрел на экран. Как бы и мне не свихнуться на здешнем гранитном подиуме, думал я и думал о том, что хоть я и живу с Подругой в обихоженной избе и не стал ещё ни таким же лешим, как персонажи с телеэкрана, ни подобием отшельника Оберлуса с острова Гуда, описанного Германом Мелвиллом, однако и редкие встречи, даже с приятными людьми, стали мне в тягость, ибо томился теперь я одним желанием: поскорее расстаться с любым гостем и, затворив за ним дверь, уединиться, молча забившись в угол. Что и говорить, если добрая выпивка в хорошей компании перестала приносить всякое удовольствие. Да, люди стали меня утомлять. С ними нужно говорить, под-

держивать беседу, а ведь можно просто молча пошептаться при случае с бутылкой, уединившись в том же углу. Выкуришь сигарету после трёх-четырёх стопарей, закроешь глаза и слушаешь себя, единоличное копошение в своих мозгах, а шум в голове при этом – ускользающий след разрозненных мыслей – так же бездумен, как шорох волны, лижущей прибрежные окатыши жёлтым языком пены, и так же завораживает, как луна, всплывающая медленно из морских глубин. И нет нужды что-то кому-то объяснять. Да и кому объяснять? Себе? Луне? Бутылке? Или скользким голышам, что скрываются под накатившей волной, и тут же, как Афродита, выходят из пены? А те голыши, если и не видели Афродиту, то Акулину или Агафью прошлых времён – безусловно. Нынче они обречены, корчась под ногами какой-нибудь хищницы из современного зверинца, созерцать её даже без тряпочки на сиськах и с ниткой промеж ягодиц. Здесь, вдали от шума городского, можно слушать свои и мышиные шорохи и без выпивки, глядя в преданные собачьи глаза, и бок о бок с Подругой – извечной начальницей кастрюль и корыт. Подруга спросит: о чём задумался, Гараев? И что ей ответить? Ведь ни одной связной мысли не почкуется в сером веществе. Так, одно мерцание, вроде того, что, говорят, бывает в глазах при отслоении сетчатки. Всё чаще ловлю себя на том, что видел себя во сне скорчившимся в яме, под корнями ели или сосны, с пластом земли, вывороченным ими; иной раз мнится мне комната в подвале разрушенно-

го дома, а тот – среди развалин неведомого города. Иногда этот дом – сущая избушка на курьих ножках, спрятавшаяся за стеной дикого бурелома, с тропами и лазами меж стволов и сучьев, известными только мне. Картинки усиливаются и становятся ярче, когда возникает необходимость поездки куда-то и зачем-то. «Мерцание» превращается в депрессию. И каждый раз, чтобы избавиться от этого кино, я возвращаю себя на Балтику, в дом отдыха «Отрадный», где когда-то, бичуя перед Новым годом, подрабатывал оформиловкой. Закончив работу и поужинав, уходил я на берег моря в небольшой коттедж с моей однокоечной кельей, окружённый могучими соснами. Мне ничего не хотелось в эти минуты. Выключив свет и забравшись под одеяло, слушал я грохот наката, бившего в обледеневшие камни, которому аккомпанировали стоны вершин, плач ветра и терпеливо ждал, когда сон снизойдёт на меня. В ту пору я подолгу не мог заснуть, а вот нынешние воспоминания о тех бессонных ночных часах быстро убаюкивают, обрушивая на голову здешнюю первозданную тишину.

Наконец я почувствовал, что снова наслаждаюсь Мелвиллом и Конрадом. Депрессии капец – я собрался с духом и решился.

Электричка догромыхала до райцентра. На автобус я опоздал, пёхом доковылял до Администрации района, где пристроился к хвосту таких же несчастных соискателей милости от чиновничьей рати у двери отдела имуществ. При-

шёл и мой час: вошёл, увидел, получил на руки договор на аренду собственного огорода. Слупили за него всего ничего – 232 тугрика, но тут же вручили и квиток теперь уже на 700 рваных, непосредственно за аренду. Далее мой скорбный путь лежал в так называемую «юстицию», чтобы заполучить последний штамп в окончательном документе, подтверждающем мои права и права государства на мою землю.

И вот новая очередь. В этой тоже томились особи обоего пола и всякого возраста, от юных дев и добрых молодцев до немощных старух и старцев. Трясущимися руками перебирали они кипы бумажек и жаловались на то, что пришлось вставать им ни свет не заря и трястись сюда аж из областного центра и, возможно, убыть ни с чем, окромя равнодушия и шпицрутенов. Об этом и сказал соседу, который попытался от скуки вовлечь меня в разговор на тему того зла, в котором мы оказались, и преодолеть которое могло наше стоическое терпение.

Сосед, увидев в руках моих только одноэкземплярный договор и пару квитков, прозорливо заметил:

– Пока есть время, сходи в дом напротив и сними ксерокопии со своих прокламаций.

– Это ещё зачем?! – изумился я.

– Таков порядок. Бабы за письменными столами как рассуждают? «Когда ему выдали сахар и мыло, он стал домогаться селёдки с крупой». Это они, вершители судеб, так думают о нас, пошляках с куриными мозгами, набитыми кру-

пой и мылом.

В доме напротив за небольшую мзду мне отксерили «прокламации». И вовремя! Вернулся – подошла моя очередь вслед за разговорчивым соседом по несчастью проникнуть в святая святых госпожи Юстиции, дебелой мадам, увешанной золотыми побрякушками, как новогодняя ёлка.

– Ваши документы в порядке, – сказала Юстиция, быстро проглядев тощую пачку моих верительных грамот, – но где же справка о том, что ваша супруга даёт согласие на то, чтобы вы взяли свой участок в аренду?

– Т-тоись… как? – опешил я. – Зачем справка, если муж и жена – одна сатана!

– Таков закон, – ответила мадам с усталой томностью, но ледяным тоном, в котором сквозила уверенность, что в мою башку ещё в детстве запихали всю мыслимую бакалею. – Кабинет нотариуса рядом. Приезжайте с женой, и пусть она не забудет взять паспорт.

Известно ли вам, что такое «грогги»? Это состояние, в котором пребывает боксёр перед нокаутом, после добротной оплеухи. Его шатает, в ушах звон, в голове динамит, готовый взорваться, если ему сразу же добавят по сопатке «удар зубодробительный, удар скуловорот».

Я покинул «юстицию» именно в таком состоянии. Надо было прийти в себя и отдышаться перед следующим раундом. На это ушёл остаток недели, но в начале следующей я и Подруга, полные решимости довести предприятие до кон-

ца, положили на стол нотариальной дамы паспорта и, обменяв нужную справку на 230 рэ, предстали (я предстал), перед озолочённой. Эта потребовала 600 наших кровных за Акт на землепользование, правда, тут же скостив мне сумму до трёхсот как пенсионеру, однако же поспешила стереть с моей физиономии радость от долгожданного финала известием, что это ещё не всё! На руки документ выдадут после необходимых внутриюстиционных процедур, только в конце месяца, зато – бесплатно.

Голодные и холодные, но всё-таки умиротворённые и вдохновлённые, добрались мы до вокзала, где узнали об отмене ближайшей электрички.

«И всё же, – рассуждал когда-то Герман Мелвилл, – земля эта, исхоженная вдоль и поперёк, хоть ей и грош цена, дорога мне, я горжусь всем тем, что на ней есть, и более всего тремя главными её достопримечательностями: Старым Дубом, горой Огг и моим камином». Хорошо сказано, а в хорошо сказанное когда-то время внесло свою поправку насчёт земли: дорога́ она стала, ой как дорога́! А что до личной моей коррективы, то Старый Дуб я заменил бы Старой Яблоней и Молодой Пихтой, гору Огг поменял бы на гору Стожок, что высится за Мини-Балтикой, а вместо камина упомянул бы Русскую Печь, ибо её каменный фундамент так же монументален, как и описанный достославным Германом: «Частенько спускаюсь я в подвал и пристально вглядываюсь в кирпичный монумент перед собой. Долго стою, размышляю, не пе-

рестаю дивиться… В могучей постройке есть нечто друидическое». И это он говорит о кирпичах! Нет, господин янки, друиды бы обомлели, увидев в трюме моей избы воистину циклопическую кладку из неотёсанных камней, кладку чуть ли не в рост человека, на которой «высится, гордо и одиноко… не какое-нибудь там демократическое собрание дымоходов, а ни дать ни взять его величество император всея Руси – истинный, неограниченный самодержец», но женского рода, добавлю я от себя, так как Русская Печь всё-таки не американский Камин.

Пока подруга коротала время за сканвордом, я убивал его, жуя пирожки и ведя такую вот мысленную беседу со стариной Германом, который после морских странствий познал прелесть оседлой жизни под кровом собственного дома, имевшего Веранду для созерцания и размышлений, и Камин для сугрева, а также для размышлений и созерцания прихотливой игры огня, которые, игра и огонь, многое скажут сердцу, окоченевшему в канцелярских дебрях и не отогревшемуся в суете вокзальной даже с помощью горячих пирожков, таких же липких, как загребущая лапа иного корыстолюбца из властей предержащих. Одним словом, я благополучно скоротал время до электрички, в то время как супруга исчеркала целую кипу кроссвордов, злясь, что не смогла ответить на все подлые уловки, к которым нынче прибегают их составители вместо конкретных вопросов.

Выходя на своей платформе, я оглянулся на пройден-

ный путь. Он был густо засеян ассигнациями разного достоинства, взятыми, по счастью, «на законных основаниях». Что ж, всходов они не дадут, зато меня не будут трогать аж сорок девять лет, то есть до конца аренды, из которых, быть может, сумею протянуть-таки ещё лет девять. Однако, что может произойти за эти девять лет? Не со мной и Подругой. Наш финиш известен: болячки, телега и – за бугор в плохо оструганной домовине. Что выдумают слуги народа ещё при нашей жизни? Может, увеличат срок аренды до ста лет? Или вообще перепишут в свою пользу всё законодательство?

Воистину прав был софист Бион, говоривший, что старость – пристанище всех бедствий, потому что они скапливаются к этому возрасту…

> *Благодаря искусству, с каким жена проводит в жизнь принцип, согласно которому определённые сферы по праву подпадают исключительно под женскую юрисдикцию, я, как человек по природе уступчивый, время от времени внезапно обнаруживаю, что незаметно лишаюсь то одной, то другой из своих мужских прерогатив.*
> *Герман Мелвилл*

Как землевладелец, я ставил свою подпись на завершающей стадии оформления всех бумаг, и получил их, когда пришёл срок. Всю подготовительную работу, все многочисленные поездки в район Подруга взяла на себя, и хотя по-

трепала нервы, но, в общем, справилась блестяще, за что я ей был признателен. А что до «мужских прерогатив», то бог с ними! Будем считать, что коли у нас «общее пристанище всех бедствий», то, поделив их пополам, мы сохранили баланс. Так я считал. Подруга думала иначе.

– Все основные тяжести быта, – говорила она, – ложатся на плечи нашего брата.

– Ваших… наших сестёр, – счёл нужным уточнить я.

– Вот именно! А главная прерогатива вашего брата, мужика, раз в году вскопать огород, другой раз собрать посаженное, а в третий – расколоть чураки и сложить в поленницу, – обвинила она скопом «нашего брата». – А мы ежедневно варим, кормим, обстирываем вас, тащим из магазина тяжёлые сумки, а у меня – плечи!

– Сколь раз говорил: пользуйся, как я, рюкзачком. Гораздо легче и руки свободны.

– Они у тебя свободны, а когда ты брался за кисти в последний раз? Сунул холсты за печь, палитра засохла. Да что я говорю! – Она от избытка возмущения даже всплеснула руками. – Ты и пишущую маши… компьютер забросил!

Я не ответил на этот справедливый выпад.

Действительно, начатые холсты заброшены и пылятся за печкой, краски засохли. На повестке дня – мода, «актуальное искусство». Те ещё ребусы и шарады! Авангардизм с Малой Грузинской, о котором когда-то рассказывал Жека Лаврентьев, – это детский лепет, шедевры реализма по срав-

нению с тем, что довольно часто уже преподносит телеэкран под аплодисменты нынешних культуртрегеров, восторженно пудрящих мозги обывателя, дабы и он зачислил себя в ряды «передовой и мыслящей части человечества». Да и чёрт с ними! Пущай. Может, и хорошо, когда кто во что горазд. Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы под памперсами было сухо. Я-то бросил кисти не из-за новых веяний, а потому что нашёл другое занятие.

А что до старенького компьютера…

Я покривил душой, когда, представил дело так, будто впервые сел за письменный стол и начал этот вот «роман воспоминаний» с чистого листа. Да, это Командор и Бакалавр подтолкнули Гараева на «тропу самураев», однако за душой к тому времени маячили две книжки и всякая мелочь, напечатанная там и сям, а ещё – три поломанных пишущих машинки. И сам роман публиковался в горноуральском литературном журнале, когда я уже имел красные корочки писательского союза с оттиснутым на них профилем вождя мирового пролетариата. Кстати, в редакции журнала состоялось моё знакомство с Бакалавром-и-Кавалером, которому я однажды принёс свою повесть. Как мы работали над ней! Каждый доказывал свою точку зрения на тот или иной эпизод и каждый то соглашался, то уступал. А Бакалавр – с его-то эрудицией! – ещё и подсказывал кое-какие детали, и советы его падали на благодатную почву. Роман поначалу тоже попал в руки добросовестного человека. Он, по крайней мере,

показывал мне вёрстку, а если в ней были сделаны какие-то сокращения, то интересовался мнением автора по этому поводу, и если прав был я, восстанавливал текст. Так появились на свет три первые книги романа. С четвёртой вышел казус. Он попал в руки «мыслящей части человечества», и эту «часть» я так и не увидел ни разу. Как не увидел гранок. Мы ни разу не встретились, не поговорили! Получив номера журнала, я опешил: новый редактор без спроса и согласия моего резал по живому, кромсал текст по своему усмотрению, выбрасывая самые дорогие сердцу автора куски. Пепел Клааса взорвался в моём сердце атомной бомбой, но что делать после драки? Махать кулаками? Только махать, и я написал редактору гневное письмо, прочтя которое, Командор сказал: «Он на тебя в суд подаст». «Пусть подаёт», – ответил я. «Миша, не ставь себя на одну доску с ним, оставь это дело». Я внял совету, но впал в депрессию: куда крестьянину податься? Журнал был единственным местом, где я мог напечататься, вдобавок с гонораром за номер, равным моей пенсии. Скажете, копейки, но, как говорил герой фильма «Великолепная семёрка», когда за душой ни цента, четыре доллара тоже капитал. И дело даже не в гонораре. Стоило ли продолжать при таком отношении к автору, когда он, автор, пустое место для литсотрудника! Если бы меня сразу поставили в известность, я бы забрал текст, и дело с концом.

Кому поплакаться в жилетку? Нет рядом никого. Командор сменил место жительства: уехал из города на малую ро-

дину. Фантаст давно покинул сей мир. Кавалер-и-Бакалавр тоже землёю сырою зарыт; туда же, к праотцам, внезапно отчалил Борис Анатольевич, о чём я узнал из попавшегося на глаза некролога в газете месячной давности. А тут ещё Подруга бабахнула по кумполу, и я ощутил вокруг себя пустоту, похожую на пузырь, в котором словно бы погружался в синюю глубину беспросветья, а она всё густела и выдавливала из груди остатки воздуха. Взамен приходило отчаяние, отчаяние бессилия, от невозможности всплыть, вернуть хотя бы крупицу смысла, которая бы вернула веру в мои «мужские прерогативы».

Супруга, голубка ясная моя, она-то и восстановила душевный статус-кво, ещё раз дав пессимисту по башке жизнеутверждающей моралью.

– Гараев, – сказала она, став передо мной, как лист перед травой, – хватит кукситься и смолить сигареты. Что случилось? Ничего не случилось. Ведь ты для чего-то протирал штаны, сидя за компьютером, который сын раздобыл для тебя? А что скажет твой друг Командор? Свистать всех наверх, с якоря сниматься, скажет он. Даже воскликнет, если позвонишь ему. В конце концов, ты боцман или старая швабра?

– Старая швабра, – выбрал я подходящий вариант.

– Если так думаешь, спускай с мачты андреевский флаг. Ты для кого-чего затеял свой роман? Для редактора, что ли? Я-то думала, что ты захотел ещё раз услышать шум и плеск родной стихии. Вот и плыви дальше под парусами «Крузен-

штерна», пока в них дует попутный ветер!

– Ты, как обычно, права, – покорно согласился я.

– А когда я была не права?! – изумилась Подруга.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.